

Дарья Дезомбре

СЕТЬ
ПТИЦЕЛОВА



Дарья Дезомбре
Сеть птицелова

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Дезомбре Д.

Сеть птицелова / Д. Дезомбре — «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-100271-8

Июнь 1812 года. Наполеон переходит Неман, Багратион в спешке отступает. Дивизион неприятельской армии останавливается на постой в имении князей Липецких – Приволье. Вынужденные делить кров с французскими майором и военным хирургом, Липецкие хранят напряженное перемирие. Однако вскоре в Приволье происходит страшное, и Буонапарте тут явно ни при чем. Неизвестный душегуб крадет крепостных девочек, которых спустя время находят задушенными. Идет война, и официальное расследование невозможно, тем не менее юная княжна Липецкая и майор французской армии решают, что понятия христианской морали выше конфликта европейских государей, и начинают собственное расследование. Но как отыскать во взбаламученном наполеоновским нашествием уезде след детоубийцы? Можно ли довериться врагу? Стоит ли – соседу? И что делать, когда в стены родного дома вползает ужас, превращая самых близких в страшных чужаков?..

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-100271-8

© Дезомбре Д., 2019
© Эксмо, 2019

Содержание

Глава первая	8
Глава вторая	12
Глава третья	23
Глава четвертая	29
Глава пятая	34
Глава шестая	39
Глава седьмая	46
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Дарья Дезомбре Сеть птицелова *Роман*

Памяти Антона

*Мы были дети 1812 года.
Матвей Муравьев-Апостол*

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Фоминых Д. В., 2019

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2019

* * *



**Челобитная Митрополиту Тобольскому и Сибирскому преосвященному
Антонию иеромонаха Мисаила духовного приказа Вознесенского
монастыря об удалении от монастыря умалишенного N.**

1794 года апреля 27 дня

Ваше высокопреосвященство, премилосердый отец наш!

Покорнейше прошу благоволить к нижайшей просьбе моей, учинив отеческое милосердие. Согласно указу всемилостивейшей Государыни нашей, принимаем мы в обители до десяти заблудших душ мужеского полу в не целом уме для духовного исцеления и врачумления.

Так, прошлым сентябрем привезен был к нам человек средних лет, наружностью и манерами весьма приятный, большой охотник до игры в шахматы, чем сразу и расположил к себе отца игумена. Не отказываясь от монастырской работы, человек этот мало-помалу спознался с крестьянами окрестных деревень, давая им советы простые и дельные. И вскоре прошел слух о великой мудрости оного, и так о двадцати человек за день приходили под окно его кельи. Но к кому приходили они? Не к монастырскому травнику и не к его преподобию, а к безумцу! Однако ж, установив плату за свои советы по десять копеек медью, сей последний весьма помог скудной монастырской кассе, и, стыжусь признаться, мы с отцом игуменом были весьма довольны столь неожиданному источнику дохода нашей скромной обители.

Третьего же дня, после повечерия, отец игумен, вернувшись к себе в келию, совершил немислимое: выпрыгнул в окно с веревкою вокруг шеи и через то повесился. Невозможно и представить себе, как сей пастырь, столь чистый духом и помыслами, позабыл о святом служении и совершил грех, равного которому нет. Позор, навлеченный на обитель чрез оное деяние, безмерен, и сам я таковым внезапным, какового во всю жизнь мою со мною не случалось, несчастьем столь поражен был, что несколько времени провел в беспмятстве. А пришед в себя, самолично осмотрел келию игумена и не нашел в ней ничего, что могло бы повлечь за собой проступок столь страшный. Его преподобие не получал в тот день писем, и единственное, чем занял свой невеликий досуг, – игрою в шахматы. Шахматная доска с неоконченною партией осталась стоять на столе, а принявшись, мне почудился в воздухе аромат лавандовой воды, коей, пренебрегая монастырским запретом, пользовался N. Впервые, по слабому рассуждению моему, пришла мне мысль присмотреться поближе к нашему новому постояльцу, у коего не приметил я по сию пору ни единого признака повреждения рассудка.

Ныне же, отправившись по хозяйственной надобности в селение, ближайшее к обители, выслушал я старосту – и похолодел. В том селении за единый месяц первый мужик заколол рогатиной отца своего, второй удушил кушаком жену, третий же до смерти прибил малолетнего сына-калеку. Ужас объял все естество мое, Ваше высокопреосвященство, егда узнал я, что оные трое душегубов бывали в нашей обители, где получали советы от безумца.

Воротившись, сыскал я последнего в курятнике за кормлением птицы. Подошед, взял за руку (а была она холодна, точно смерть) и спросил со всею строгостию:

– Отчего лишил себя жизни отец игумен?

*Безумец же, подняв на меня недвижны очи, сощурил вдруг один глаз, оскалился, аки
пес, и рек:
– Il a perdu ¹.*

¹ Он проиграл (фр.).

Глава первая

*В Польше хлеба больше.
Поговорка*

Князь настоял, а княгиня не смела перечить.

– Негоже подарки государевы оставлять без присмотра, – горячится погожим майским днем двенадцатого года его сиятельство: в этот день Джон Беллингем стреляет в английского премьер-министра. Там же, в палате лордов, заседает Джордж Гордон Байрон, опубликовавший пару месяцев назад первые песни «Паломничества» Чайльд Гарольда. Четвертый президент Американских штатов собирается объявить Англии войну за независимость. Плачет в своей лэндпортской колыбели младенец – Чарльз Диккенс. Бетховен пишет Седьмую и Восьмую симфонии, братья Гримм готовят к выходу том волшебных сказок. Мэттью Мюррей строит первый коммерческий паровоз для Мидлтонской железной дороги, а в Стаффордшире Томас Веджвуд – человек, чья фамилия известна князю и княгине лишь по прелестным фарфоровым чашкам, уж десять лет как трудится над созданием будущей фотографии...

Но сидящая напротив супруга княгиня вряд ли доживет до своего дагерротипного изображения (да и зачем оно нам – темное, не оставляющее пространства воображению?), навсегда оставшись в веке полупрозрачной акварели. Она опускает глаза, отказываясь озвучить тайную причину своего нежелания ехать в Трокский уезд, а князь все говорит и говорит – да все не то, что хочет услышать супруга (весьма частый случай частного супружеского бытия).

Через полуоткрытое окно деревянного особняка в переулке близ Большой Дмитровки майский ветер доносит запах сирени из сада и дубленых кож – с Охотного ряда. Густо пахнет и навозом – но вонь эта является парфюмерной константой любого крупного города эпохи, и нос княгини даже не отмечает ее, как не чувствует загазованного воздуха современный москвич.

– А что доход маловат в сравнении с великоросскими деревнями, – продолжает излагать ненужное его сиятельству, – так забрось, как ляхи, имения, оставь арендаторам и останешься сам – с носом. *Sublāta causa, tollitur morbus.*² Без хозяина и дом – сирота (как многие просвещенные дворяне, князь с легкостью женит латынь с народной мудростью).

Княгиня же, перебирая унизанной кольцами рукой домашнее свое платье, размышляет не о хозяйственных нуждах его сиятельства, а о своих, знакомых матерям каждой девицы на выданье, обязанностях. Она знает – нынче летом государь, а значит и весь императорский двор, будут в Вильне. А дочь ее, княжна Авдотья, вздыхает Александра Гавриловна. – выезжает вторую зиму, однако успехи ее в свете, увы, невелики. Скромнее, чем ожидала княгиня, учитывая положение семьи и даваемое за княжной приданое. За масленичные балы княгиня смирилась было с тем, что дочери не суждено составить блестящую партию. Однако возможность сойтись с лучшими петербургскими фамилиями в обстановке, далекой от столичной чопорности, вновь оживляет ее матримониальные мечты: она переводит серые прозрачные глаза свои на князя и он наконец читает в них согласие.

– Вот и славно, княгинюшка, вот и славно, – целует он супругу в еще нежно-розовую со сна щеку и быстро – покамест та не передумала – выходит из гостиной.

* * *

И никто, никто не потрудится объяснить Александре Гавриловне, что ежели государь и доберется до дальних и пыльных границ безбрежной своей империи, то лишь оттого, что мно-

² С устранением причины устраняется болезнь (*лат.*).

голетние слухи о войне с Буонапартом подтвердятся. А значит, и Вильна, и все западные губернии окажутся на самом что ни на есть передовом рубеже наполеоновской армии. Впрочем, сам князь следом за графом Федором Васильевичем был свято убежден, что войне с «Буонапартием» не бывать. Давние приятели по Англицкому клубу, Ростопчин с Липецким с неделю как со вкусом обсуждали выгодный мир с турками: Бессарабия присоединена к России, гордый росс, как исстари, встал на берегах Дуная. Мир, мир!

А Буонапарте – что?

– Не хватит у корсиканского выскочки наглости замахнуться на Россию-матушку, – повторяет то и дело князь. – Чай, не наполеганское королевство – откуси да выплюни.

«И не Пруссия, Австрия, Португалия и Италия», – начнет перечислять сидящая рядом с французским романом дочь его Авдотья. Но только про себя. Одно перечисление успехов «маленького капрала» приводило у старшего Липецкого к разлитию желчи и дерганью старой, полученной в турецкой же кампании, колотой раны в правой ляжке. «Далеко шагает, пора унять молодца!» – цитирует он старика Суворова, заканчивая сими златыми словами любые дискуссии о Буонапарте.

А Авдотье (как, впрочем, любой барышне ее круга) был симпатичен свежеиспеченный император: вознесшись ниоткуда, он усмирил революцию и покорила полмира, а покорила, бросил его к ногам вдовы Богарне. Помилуйте, есть ли на свете что-нибудь романтичнее? Наполеону повезло быть воплощением романтического героя в эпоху культивирования романтизма, – заметим, два с лишним века спустя никто из полководцев так и не смог его в том переплюнуть. И пусть развод двух любящих сердец немало нашу княжну опечалил, но (как писала Авдотья сердечной подруге Мари Щербицкой) трагедия императора в том и состоит: прежде вынужден он думать о процветании подвластной ему империи, и лишь засим – о личном.

Тем временем из Петербурга, из кругов, весьма близких к Аничкову, плыли в старую столицу эпистолярные сплетни: мол, сам государь Александр Павлович дважды отказал Буонапарту в супружеском – и морганатическом! – счастье. Сначала в руке великой княжны Екатерины, а два года спустя и великой княжны Анны, спешно обрученной с принцем Оранским, – лишь бы не досталась наглому корсиканцу. И об этом тоже жалела Авдотья, ибо сей отказ полностью рушил ее надежды увидеть блестящего Буонапарте среди ликующей толпы где-нибудь неподалеку от Успенского собора. О пышной императорской свадьбе мечтала княжна, не о войне.

О войне она и не думала.

* * *

Сборы в имение каждый год повторялись с привычностью кошмара. Степенный московский дом Липецких перевернут был вверх дном – двигали мебель, снимали картины и зеркала, наполняли доверху дорожные сундуки. Княгиня металась по комнатам, вздымая юбками неизбежный при великом летнем переселении сор из оберточной бумаги, веревок и сена (им прислуга обкладывала посуду и хрупкие безделушки из гостиной). Теснились во дворе подводы – какие пустые, какие уже просевшие под господским скарбом. Перекрикивались с бестолковой в предотъездной суете дворней возницы. Жмурились, отмахиваясь от мух, разбитые лошади с подвод. Свесив языки и тяжело дыша, лежали под экипажами дворовые собаки.

А в господском доме беспрестанно что-то падало, звенело, хлопало. Хозяйская рука раздавала оплеухи щедрее обыкновенного. Николеньку с дядькой, от греха подальше отправили на прогулку по Тверскому, старшие же брат с сестрой сидели тише мышей на широком подоконнике отцовской библиотеки меж тяжелыми гардинами и зеленоватым оконным стеклом, деля меж собою крепкое берсдорфское яблоко. Они грызли яблоко, сохраненное с прошлого урожая в сухих и прохладных подвалах московского дома, и лишь переглядывались, услышав

особенно громкий маменькин взвизг: совсем юные, вчерашние дети – хоть одна, ежели завтра замуж навсегда оторвется от родимого дома, а второй не сегодня-завтра отправится умирать за Отечество. Но покамест Алексей перелистывал любимых своих философов, а Дуня, сдвинув рыжие брови, вчитывалась в брошюрку некоей Олимпии де Гуж (опусы Олимпии, почти двадцать лет запрещенные во Франции, тайно были вывезены Алексеем на дне сундуков из Европы).

«О, женщины! Когда же вы прозреете? – читала княжна Липецкая, девятнадцати лет от роду, а молодой князь Липецкий, двадцати двух годов, прятал улыбку, видя ее озадаченное лицо. – Что получили вы от Революции? Или вы боитесь, что наши французские законодатели снова спросят: „Женщины, а что же у вас общего с нами?“ – „Все“, – ответите им вы». Авдотья растерянно оглянулась на брата, но тот сделал вид, что крайне увлечен *Phänomenologie des Geistes*³. Сдержав пораженный вздох, она вернулась к книге.

– «Довольно прятаться за спиной у мужчины! Что есть брак, как не могила доверия и любви?» – продолжала мятежная Олимпия. Дуня испуганно вздрогнула. Могила?! Доверия и любви?!

Тем временем за стеной библиотеки происходила сцена, вполне иллюстрирующая страстные воззвания мадам де Гуж. Утомленная сборами Александра Гавриловна в сердцах не удержалась и выдала не успевшему укрыться в Англицком клубе папеньке истинную причину своего нежелания отправиться на лето в бывшие польские земли – в Трокский уезд.

– Бесстыдники! – подбородок княгини дрожал от возмущения. – Вводят своих любовниц в порядочный круг, возят на балы!

Княгиня отчаянно ревновала: о ту пору полячки имели репутацию роковых соблазнительниц. А российские орлы – недавние покорители Польши – с легкостью ловились на крючок и вознаграждали себя за военные победы. Почитая (всуге) супруга отчаянным ловеласом, княгиня не желала вновь оказаться рядом с обольстительной приманкой. И пусть в барском доме и в ближайшей к дому деревне барыня «искоренила искус», заселив их людьми из своего калужского имения, опасный соблазн так и витал в воздухе западных губерний.

– Ангел мой, Господь с тобою, – преодолевая некоторое сопротивление, князь прижал седеющую голову ее сиятельства к своей груди. И пока супруга что-то жарко шептала в его бархатный жилет, замер, потерянно глядя в мертвый зев камина. Он знал, что сильно виноват перед женой. Но знал также, что амурные дела не имеют к его постыдной тайне никакого отношения. И что уж лучше прослыть ветреником, чем открыть своей Александрин страшную истину.

* * *

Наконец провожаемые толпой дворовых во главе со старой нянькой, со слезным поцелуем приложившейся к барыниному плечу, с Божьей помощью выехали со двора и медленно, вслед за такими же вереницами семейных помещичьих обозов покатались в сторону летних своих резиденций. Княгиня расправила юбку дорожного платья и вздохнула, оглядываясь на городской свой дом. Она знала, что прислуга, в последний раз истово перекрестив бар на дорожку, вмиг изменит строгому домашнему распорядку: праздный лакей сядет у крыльца брэнчать на балалайке, горничные примутся точить лясы у ворот. Мимо них, щелкая орешки, будут прохаживаться приказчики из ближней лавки. Москва на лето плотно захлопнет ставни, опустеет и притихнет. В садах за бланжевыми, охряными, кофейными фасадами станут заливать разве что соловьи да голосить по барским прудам лягушки, вырастет вдоль мощеных дорог никем не скашиваемая трава... И еще явственнее станет ее деревенская суть.

³ «Феменология духа» (нем.) – работа Г.В.Ф. Гегеля.

Вглядимся вслед за княгиней из окна дорожной кареты назад и мы. И вздохнем – но о другом. Через четыре месяца той Москвы, которую знает ее сиятельство, не станет.

Глава вторая

*Цвети, в виду двойной лазури
Родных небес, родной реки
Затишье, пристань после бури
И мрачных дней, и дней тоски.*

Петр Вяземский

В то время планета наша весила на несколько миллиардов душ меньше, небеса населяли лишь птицы да ангелы, землю – исключительно натуральный, а не искусственный – разум. И потому та жизнь кажется нам сейчас более наполненной свободным пространством, воздухом и покоем. Мы смотрим на нее через призму времени, полного живописных нюансов, – у картинки отсутствует четкость, но сила воображения делает прошедшее в сто раз привлекательнее нашей сфотографированной и растиражированной реальности. Оглядываться, писал Бродский, занятие много более благодарное, чем смотреть вперед. Добавим: попытка заглянуть в далекое прошлое помогает забыть настоящее – тем и ценно.

И вот мы пристально, до рези в глазах, всматриваемся в растекающиеся во все стороны от древней столицы пылящие караваны. Подобно современным дачникам, московские бары отбывают в летние свои резиденции – подобно, однако с бóльшим размахом. По Литовскому тракту, через Смоленск, всю тысячу без малого верст, едут они без спешки, со всевозможным комфортом располагаясь в шатрах и палатках, откушивая чем Бог послал – а точнее, предусмотрела кухарка: жареной телятиной и индейкой, пирогами с курицей и мясом, сдобными калачами с запеченными в них целыми яйцами. Останавливаются у гостеприимной провинциальной родни дней на пять... А после вновь трогаются в путь, в тщетной попытке спастись от вездесущей пыли плотно задергивая шторы безразмерных карет.

Перед каретой, в которой сидели трое младших Липецких, мерно покачивался высокий кузов родительского экипажа. Алексей, с серым от пыли лицом, дремал. Николенька, дюжий и неуклюжий, как медвежонок, с детской радостью приветствовал каждый замеченный издали верстовой столб. Одна Авдотья не могла ни заснуть от жуткой тряски, ни должным образом сосредоточиться на иной, после страстной Олимпии, книге. «Женщина рождена свободной и равной в правах мужчине, – крутилось в ее голове, и Дуня все не могла понять, как ей к этому относиться. – Мужчины, способны ли вы быть справедливыми? Этот вопрос задает вам женщина. Вы не можете приказать ей молчать. Скажите мне, кто дал вам право унижать мой пол? Ваша сила? Ваши таланты? Взгляните на нашего Мудрого Творца, на величие природы, к гармонии с которой вы стремитесь, и, если сможете, найдите еще хоть один пример такого же деспотизма».

Дуня смотрела на создание нашего Мудрого Творца за окном экипажа и, размышляя над мадам де Гуж, день ото дня чувствовала, как постепенно теплеет воздух вокруг.

И вот, спустя три недели после выезда из Первопрестольной, перед умиленным взором путешественников возникли родные леса и пуши. Зашелестели сады: уже отцветшие, но здоровой июньской зеленью обещавшие хозяевам недурной урожай сапежанских груш, мирабели и шпанской вишни.

Дуня любовно вглядывалась в живописные холмы, взблескивающие солнечной искрой в низинах озера с замшелыми валунами: разнообразный пейзаж, ничего общего не имеющий с калужским их именем, где в обе стороны от дороги уходила одна плоскость вызревающих полей. Здесь же, в бывшей Речи Посполитой, владения непокорной шляхты были розданы пре-

данным великорусским родам, и жизнь текла хоть и провинциально-сонно, но все-таки иначе, чем в российской глубинке. Сама шаткость, недавность принадлежности этой земли к империи придавала ей нерусскость, отличную, как и здешний пейзаж, от горизонтали российских степей. То была вполне европейская, не режущая глаз экзотика, как легкий польский акцент во французском у местной аристократии. Это-то и нравилось Авдотье, никогда не выезжавшей за границу (скучные воды не в счет).

Сейчас она, отбросив дорожную скуку, приподнявшись над сиденьем и высунув голову в окно, на спор с младшим братом ждала, когда за следующим поворотом покажется Приволье: сначала ворота, а за ними – начисто выполотая к барскому приезду и посыпанная светлым речным песком, по обе стороны обсаженная старыми липами подъездная дорога. В конце ее вырастала громада главного дома. Огибая внушительных размеров крыльцо, поднималась к палладиевскому фасаду о четырех колоннах парадная лестница. Дом, будто корабль, торжественно вплывал в липовую аллею. Правое и левое крылья здания откинута были назад, другая сторона усадьбы служила уютным пристанищем для семьи и друзей. Замкнутый мир, построенный вокруг круглого пруда и спускающегося к речке парка с беседкой.

– Вон, вон ворота! – вскричал Николенька.

И правда, показались ворота, наследие непокорного пана, которому раньше принадлежали и эта земля, и этот дом, пусть и изрядно перестроенный маменькиными (и итальянского архитектора) стараниями.

За воротами с поросшими мхом львами уже собралась дворня, и Авдотья затормозила погруженного в немецкий роман старшего брата:

– Алеша, мы приехали, приехали! Да оторвись же ты, смотри, красота-то какая!

Брат послушно перевел глаза от готических строк к зелени подъездной аллеи: меж стволов старых лип мелькал во всполохах солнца травяной ковер в россыпи мелких белоснежных маргариток, а дальше, по левую руку от приезжих, темнела знаменитая на весь уезд роща с трехсотлетними дубами.

* * *

По приезде каждый занялся своими делами: батюшка уединился в курительной с управляющим, матушка раздавала приказы разбирающей пожитки дворне.

– Акулька, аккуратнее, не разбей! – доносилось с крыльца. – Ах, Боже милостивый, что с тобой нынче, Кондрашка, неси это на кухню!

Стараясь не попасться матери на глаза, трое младших Липецких прокрались мимо неплотно затворенной двери кабинета. Оттуда слышен был сухой стук костяшек деревянных счет и бубнящий голос Андрея, барского управляющего:

– За мельницу – тысяча рублей. Залогов из казны обратно – десять тысяч. Сена можно продать семь тысяч пудов – кладем по сорок пять копеек за пуд. Из сих денег десять тысяч в Совет за Приволье...

Алеша, поморщившись, потянул сестру за руку – дела хозяйственные вызывали у него явное отвращение. Николенька уже бросился вперед, более всего на свете боясь, что родители усадят его за зубрежку стиха из Сумарокова, а то и за чтение «Истории России». Гувернер его, месье Блуа, остался страдать от инфлюэнцы в московском доме, и младшее сиятельство не без оснований надеялся, что с известной ловкостью сумеет избежать частых педагогических порывов любящих родителей. Радостно помахав старшим брату с сестрой, он вылез прямо из французского окна в малой гостиной и вприпрыжку побежал на псарню – осматривать свежий щенячий помет. Алеша же с Авдотьей вместе прошли через центральную ротонду к низкому широкому крыльцу с другой стороны дома, где, не сговариваясь, взялись за руки.

– Ах, Алеша, как хорошо! – Дуня глубоко вздохнула и зажмурилась.

Началось привольное лето. Хотелось, как Николенька, вприпрыжку обежать все знакомые места – от ручья с резным мостиком до лебединого домика и ежевичных зарослей внизу у речки.

– погоди, – протянул брат, отпустив ее ладонь. – Неужто думаешь резвиться, словно неразумное дитя?

Дуня даже не обернулась, заранее зная, что он собирается сказать.

– Ведь мы тут по твоей милости, ма шер. Больше никаких игр в горелки. Вспомни-ка лучше о запертых в сундуках муаре и гризете да о тоскующих по казармам храбрых уланах да гусарах! Каков выбор нынче в Вильне: сам государь и гвардия!

– Сам вспомни-ка лучше о колете своем да рейтузах! Больше никаких философов, братец! А то натянул бы мундирчик и отправился б со мною в Вильну повидать будущих товарищей!

И зная, что теперь-то уж они, наверное, испортили друг другу настроение – *donnant donnant*⁴ (взялся язвить, так уж сестра тоже за словом в карман не полезет), – Дуня показала ему беззлобно язык и сбежала по пологим ступеням в сад.

* * *

Ужинать сели засветло, распаренно-ленивые после смывших многодневную пыль ванн и переодетые в чистое. Расположились вчетвером (Николенька с дядькой столовничали на детской половине) за круглым столом в малой столовой. Ставни по Дуниной настойчивой просьбе были приотворены, впуская вместе с июньской мошкаррой-кровопийцей медово-свежий запах жасмина и приторный – бенгальских роз. Поглядывая в высокие окна на нежнейший закат за речкой, привычно выискивали среди розового и золотого блистающую нездешним светом комету.

Что предвещала она, отчего светила бедой в очи? Все – от простолюдина (откровенно) до государя (втайне) – веровали, что небесное тело не просто так возникло на божественном небосводе. Это был знак, но что он означал, было неизвестно. Хорошего, по русской традиции, не ждали. Хорошего, по той же традиции, и не произошло.

В вечернем свете, чью мягкость не могло испортить даже висевшее на горизонте страшноватое небесное тело, маменька с папенькой – он в старом мундире своего полка, она – в не туго затянутом витым шнуром капоте – казались братом и сестрой. Столь похожими супругов делают лишь многие годы совместной жизни. Да и обращались они меж собою давно уже с родственной нежностью – чуть нервной у маменьки, снисходительной – у отца. Казалось, если идеальная пара и ссорилась, то лишь по причине карточных долгов отца (впрочем, необременительных для их изрядного состояния) и мелких вспышек ревности матери. Еще одним семейным камнем преткновения оказалось полное отсутствие интереса старшего сына к военной службе. Четыре года в Гёттингенском университете, выторгованные Алешиным молчаливым упрямством и маменькиными слезами, не оградили его полностью от исполнения долга дворянина. И потому перспектива службы висела над Алешей подобно дамоклову мечу.

Следующей в списке родительских забот стояла дочь: канонам красоты не соответствовала, кротостью нрава не отличалась. И потому могла более рассчитывать на свое немалое приданое, чем на страсть претендента. Тема замужества, вздохнула про себя Авдотья, еще не раз будет поднята маман за семейным обедом, но – тут Дуня встряхнула влажными после мытья рыжими кудрями – пусть! Все равно впереди череда беззаботных дней, прозрачных и душистых, как свежий липовый мед. Домашние радости и невинные удовольствия среди сельских красот. Ведь то, что в столицах являлось невозможным и предосудительным, в деревне было и

⁴ Услуга за услугу (*фр.*).

возможно, и прилично. Возможно – не размышлять часами о своем дневном туалете, прилично – не делать замысловатых причесок. Рано ужинать и рано ложиться. А также кататься верхом, купаться, как нагреется в июле вода в купальне, и читать (Авдотья еще в апреле заказала себе книги у де Мореля и теперь с нетерпением ждала их приезда: как бы не побились).

После ужина княжна, поцеловав папенькину руку и получив от него ответный поцелуй – как клюнул в лоб, – ушла к себе. Дунина девушка, Настасья, заплела ей на ночь косу.

– Опять... – вздохнула барышня, взглядываясь в посмевающие высыпать за время пути ненавистные веснушки.

В те времена и еще сто с небольшим лет с момента описываемых нами событий, правила оставались неизблемы: ручки и лица крестьянок были черны от загара, прачек и кухарок – красны, и только барышни были белы, как лилейные лилии, ибо не знали работы, а знали, во всякое время года – перчатки и шляпки с капорами (расскажи кто нашей княжне о современных уловках искусственного загара и модных на парижских подиумах фальшивых же веснушках, Авдотья бы ему просто не поверила).

– Небось, – отвечала тем временем на вопросительный взгляд хозяйки Настасья, позевывая и мелко крестя рот. – Огурцом выведем. Никто и не приметит. – И добавила: – А косу вашу ореховым отваром полоскать станем, так потемнеет.

Авдотья с надеждой вскинула глаза: неужто есть надежда сменить отвратительный рыжий на благородно-каштановый?

– Все женихи наши будут! – подмигнула ей Настасья в зеркало. – Давайте, барышня, в постель. Утро вечера мудренее.

И, чувствуя, как Настасья подтыкает вокруг нее одеяло, Авдотья мгновенно провалилась в сладкий сон.

* * *

Лучи летнего солнца через щели в портьере добрались до Авдотьиной постели, жаркой полосой легли на щеку, отразились от бока медного чайника – полыхнули в глаза.

Дуня проснулась. Чай в постели в неге июньского утра – вот оно, начало ее долгого счастливого лета.

Отставив чашку, Авдотья зажмурилась и, блаженно потянувшись, кликнула Настасью. Та вбежала, раздернула гардины. Дала хозяйке умыться, поднесла под конец кусок льда с ледника, чтоб та натерла им щеки: для нежного девичьего румянца. Настасья же помогла застегнуть пуговицы легкого голубого платья.

– Сундуки-то ваши, барышня, еще не все разобрали. То, что есть. Да вам и идет. – Настасья усадила хозяйку перед зеркалом.

Авдотья взглянула на разрумьнявшуюся безо всякого льда Настасью. Вот уж кто хороша: ровные брови вразлет, блестящие черные глаза и тяжелая каштановая коса. Для Дуни не было секретом, почему маменька определила ей в девушки эдакую крестьянскую Венеру: Александра Гавриловна рассчитывала, что расцветающая мужественность Алексея не пропустит хорошенькой горничной. Мальчики должны становиться мужчинами и лучше уж с проверенной девушкой в доме, чем с особами с определенной репутацией на Сретенской горке. Настасья была не против: молодой барин ей нравился, а кому не придется по нраву такой молодец? И нарочно сталкивалась с Алексеем в коридорах, будто невзначай прижимая его к стене налитым бедром. Впрочем, мечтательный Дунин брат, к великой Настасьиной досаде, не обращал на ее демарши ни малейшего внимания.

И вот сейчас Настасья расчесывала выющиеся волосы юной княжны – рыжие, тонкие, некрасивые – и вздыхала про себя. Где справедливость? Почему вся краса в семье досталась

старшему? Мужчине, а не девице, для которой она в тысячу раз важнее? Сама Дуня также с привычным неодобрением вглядывалась в маловыразительное свое лицо, в очередной раз констатируя: никто не возьмет ее по любви! Уж больно дурна.

Тут стоит отметить – век девятнадцатый, романтический, унаследовал от рационального восемнадцатого четкость определений – вплоть до описания «истинной» красоты. Шаг влево и вправо, который мы держим за оригинальность, не признавался. Так, «Словарь любви» господина де Радье педантично перечислял все тридцать признаков идеальной красавицы, где на первом месте была заявлена «молодость», а на последнем, тридцатом, «скромная походка и скромное поведение».

И с тех пор любая просвещенная девица сверяла по сему словарю совершенную внешность со своей, несовершенной.

Авдотья будучи сама с собою честной нашла у себя более двадцати расхождений из тридцати – включая то самое «скромное поведение». Увы, лицо княжны было совершенно не во вкусе ее эпохи, чтобы убедиться в этом, достаточно изучить поэтические описания той поры.

Я помню очи голубые,
Я помню локоны золотые, —

пел Батюшков.

Ему вторил Баратынский, почти слово в слово повторяя навязчивый идеал:

...Власы золотые
В небрежных кольцах по плечам,
И очи бледно-голубые.

До появления первой романтической брюнетки – Татьяны Лариной – оставалось еще тринадцать лет. Немудрено, что Авдотья не на шутку комплексовала: где золотые локоны? Где нужного цвета очи? Рот слишком велик. Подбородок – остр. Плюс широкие, доставшиеся от отца мужские брови, тогда как в моде были тонкие, с еле заметным изгибом. Выщипывать их, по введенной Руссо моде на естественность, было не принято, так что бедная моя княжна застыла меж Сциллой и Харибдой – необходимостью соблюдать натуральность и тем трагическим фактом, что ее натуральность не подпадает под идеал.

А покамест Дуня привычно кручинилась, Настасья заколола последнюю шпильку в узле на затылке. Нетерпеливо дернув головой на попытку пригладить влажной ладонью мгновенно выбившийся легкий вихор, – и так сойдет! – мельком улыбнулась Настасье и выбежала из комнаты.

Завтрак был уже подан: на круглом столе кипел самовар; на подносе лежала целая горка домашнего печенья; рядом – нарезанный ломтями холодный ростбиф. Кроме ростбифа (папенька любил завтракать плотно) подавали горячее молоко, кашу, теплый хлеб, яйца и мед. Княгиня заваривала китайский чай в высоком чайнике и разливала домашним с густыми сливками, сама сливочно-нежная в утреннем белом шалоновом⁵ капоте и в придерживающей косу кружевной головной накидке. По обе стороны от нее сидели старший сын и супруг. Алексей, судя по платью, успел совершить утреннюю прогулку и нынче держал в руках книгу в красном кожаном переплете. Дуня мельком глянула на название – то была поэзия, что верно более, чем тяжеловесная философия, соответствовало нежному июньскому утру. Сергей Алексеевич, в халате и в бумажном⁶ колпаке, уж допивал свою широкую, похожую на полоскательную, чашку.

⁵ Шалон – разновидность легкого шерстяного сукна.

⁶ То есть хлопчатобумажном.

– Хорошо ли спалось, душа моя? – поцеловала Александра Гавриловна дочь в лоб и, не дождавшись ответа (разве можно плохо спать в Приволье?), продолжила начатую с мужем беседу: – С завтрашнего дня и начнем. С Дзенгелевских и Габих?

Отец поморщился: соседей-шляхтичей своих он недолюбливал, как и они его. С поляками, говаривал князь, должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Впрочем, и Александра Гавриловна чувствовала себя с польскими соседями скованнее, чем с Щербицкими и Дмитриевым. Но делать нечего: кроме репутации доброго соседа, визиты вежливости важны были и для получения свежих новостей и сплетен: те, что приходили вместе с столичными газетами, запаздывали почти на месяц. А государь уже в Вильне...

Догадавшись по материнскому смущению о ее мыслях, Дуня пожалала плечами:

– Мы с Алешей могли бы, как спадет роса, поехать к Щербицким. Через лес это верст семь, не боле. Узнаем все новости и вернемся к чаю. Да, Алеша?

Брат рассеянно кивнул, как всегда, склоняясь перед живой настойчивостью сестры. Ехать он не желал – стоило ему появиться в любом из соседних имений с девицами на выданье, как мамыши принимались задавать ему многозначительные вопросы о будущем, папаши – хлопать по спине, а их дочери – жеманно улыбаться.

Тем временем княгиня обменялась с Дуней предостерегающим взглядом: Мари Щербицкая лет с двенадцати была влюблена в Алешу, но маменька к той семье относилась с осторожностью: в Петербурге Щербицкие жили на Английской набережной, на широкую ногу, но дела их, по слухам, были весьма расстроены, имения перезаложены, а приданое обеих дочерей таяло на глазах, проматываемое отцом, помешанным на трюфелях и прочих гастрономиях. Надежды на получение наследства также были невелики: дед Щербицкий столь страстно любил французскую оперу, что вот уж пять лет сожительствовал в роскоши с французской же певичкой. Однако Дуне, лишенной матримониальных расчетов, казалось, что девицы Щербицкие чудо как хороши. Кроме того, всю зиму они с Мари и Анетт обменивались письмами, комментируя кавалеров на рождественских и масленичных балах. Но ведь в письмах всего не напишешь...

– Что ж, – решила княгиня, – дело хорошее. Развеетесь. Алешу от книг оторвешь. – И мать повернулась к супругу: – А я займусь теплицей, мон шер.

Сказано – сделано. Бодро выехали: Алеша – на своей рыже-чалой английской лошадке, Дуня – на ласковой мышастой Ласточке. Не доезжая до ворот, свернули с аллеи к дубовой роще. Там лошади пошли шагом.

– Ну неужели тебе совсем, совсем не нравится Мари? – не унималась Дуня, заглядывая в мечтательные, серые, как и у нее, глаза брата. Блики солнца дрожали на бежевом фраке, но цилиндр оставлял все лицо, кроме подбородка, в тени. И, близоруко шурясь, она видела лишь улыбку, весьма ироничную. – Или тебе нравится Анетт?

– Барышни Щербицкие похожи на черных галок, – сказал Алеша, легонько шевельнув поводьями. – Болтают так много и так неумно, что я, ма шер, сразу начинаю подле них страдать мигренью. Согласись, сложно в таком состоянии сделать выбор.

– Неправда! – пылко вступилась за подруг Авдотья. – Мари схожа с мадам Рекамье, а у Анетт дивный цвет лица и зубы, как жемчуг.

– Еще добавь про уста, как кораллы, – засмеялся Алексей.

– И добавлю! И глаза – ты заметил, какие у обеих глаза? И ровные брови, и щеки с ямочками. (Девицы Щербицкие, как уже понял читатель, почти полностью подпадали под идеальный образ из «Словаря любви»). – Дуня опустила глаза на руки в лайковых перчатках, от обиды на судьбу слишком крепко сжав поводья.

– Так ты едешь к нашим записным прелестницам, чтобы в очередной раз увериться, что ты дурнушка?

– И вовсе нет! Они мои подру...

– Они твои соперницы, mein Herz⁷, – перебил Алексей. – По крайней мере, покамест ты не найдешь себе мужа. А вот к чему тебе с ними соревноваться?

– О чем это ты?

– Вряд ли когда-нибудь твои глаза станут небесно-голубыми, а уста – коралловыми, – безжалостно припечатал брат. – Но у тебя есть Приволье.

– При чем тут, скажи на милость, Приволье? – нахмурилась Дуня.

– Приволье. И дом в Москве. И калужское имение. Все эти сотни крестьянских душ, и пахотные земли, и сады...

– Я не понимаю тебя... – Она даже остановила подрагивающую ушами кобылу – будто и Ласточка не могла уразуметь, куда клонит молодой хозяин.

– Ты независима, mein Herz, – цокнул брат, понукая и свою, и сестринскую лошадек, – ты богата. Так к чему выходить замуж, коли сама знаешь, что некрасива и суженый станет волочиться за одним твоим приданым?

Дуня не отвечала, с трудом сдерживая слезы. Неужели даже любящий брат не способен найти в ней достоинства, которых не замечают чужие равнодушные глаза? И все же, все же... Алешины слова эхом перекликались с размышлениями мадам Олимпии.

– Можешь заняться управлением имением, – продолжал тем временем он. – Я с удовольствием предоставлю тебе эту честь после смерти батюшки. Иль заделаешься новой мадам де Сталь. Николенька, к вящей радости папá отправится маршировать в гвардию, а мы будем делить хлеб и кров. Собираться за ужином и иногда за обедом...

– Ты, похоже, уже все обдумал? – Авдотья неверяще смотрела на брата. Нет, не случайно он привез ей в Москву брошюрку Олимпии. – А как же дети? Или для тебя нет супружеского счастья? Пусть прошла страсть, но остается нежная привычка, и...

Алексей поморщился:

– Да-да, я помню. Это когда супруги окончательно и бесповоротно погружаются из поэзии в область прозы? Он целует тебя в щеки, ты его в лоб, а разливая ему чай, ты прихлебываешь немножко, чтобы знать, довольно ли он крепок и подслащен. Иногда ты садишься за клавикуды, а супруг, облокотясь на стул, слушает тебя с умиленным вниманием, переворачивая листы нотной тетради. Все? А, нет, совсем запаматовал о резвящихся в саду маленьких ангелах. Довольно тебе?

– Так что ж? – обиженно взглянула из-под шляпки Авдотья. – Мадам де Гуж права? И брак – могила доверия и любви?

Алексей пожал плечами:

– Нет, это ты лучше скажи: зачем учила географию и мировую историю? Поверь, mein Herz, все твои претенденты в мужья искренне убеждены, что если женщине и нужна грамота, то разве что для написания любовных посланий!

– Неправда! – вспыхнула Дуня. – Смоленки учат и математику, и химию, и физику, а за одну из них сватался сам Гаврила Романович!

– Еще одно подтверждение моей правоты, – пожал плечами брат. – Сколько их, Державиных, на всю Россию-матушку? А остальные, лишь узнав о девице, что та «грамотница», обегают ее за версту!

– Да? А я уверена, что мадам де Гуж, хоть и грамотница, а вышла замуж и уже воспитывает внуков! – выпустила последнюю стрелу Авдотья. И пожалела.

– Мадам де Гуж, – усмехнулся Алексей, – отказалась от блестящей партии, поскольку во Франции жена обязана получать одобрение мужа, прежде чем печатает свои произведения, а для нее сие было неприемлемо. И бабушкой стать она не успела.

– Отчего же?

⁷ Сердце мое (нем.).

– А оттого, mein Herz, что Революционный трибунал отрубил ей голову.

Некоторое время они ехали в тишине. Дуня молчала, впечатленная судьбой Олимпии и той печалью, что звучала в голосе брата. А меж тем судьба наделила его всеми дарами: умом, внешностью, положением в обществе... «Возможно, – думала она, – в Германии он, подобно юному Вертеру, полюбил? И сейчас Алешино сердце разбито?»

– Судя по твоему молчанию, mein Herz, шансы мои на сельскую идиллию а-ля Руссо невелики, – прервал ее мысли брат. – Ты, вопреки возможному счастью, исполнишь положенную роль жены и матери. А я отправлюсь на войну с персами или вот еще – с французом. И мне оторвет ядром ногу, а лучше уж – сразу голову.

– Не говори глупостей! – Дуня была рада, что разговор ушел в сторону. – Не будет никакой войны, а твоя дурная голова не нужна даже турецкому ядру...

Последнюю фразу она крикнула, пустив свою лошадь в галоп – только бы не продолжать страшного разговора. Мысль, что брат может погибнуть или вернуться калекой, была невыносима. Ни картечь, ни удар сабли не смели изуродовать этого лица с правильными античными чертами. С грустью подумалось, что мечта о любви, которую она лелеяла в глубине души, была невозможна для нее, дурнушки. Зато более чем доступна красавцу Алеше. И вот парадокс: похоже, ему она вовсе и не нужна.

* * *

Анетт и Мари тотчас же увлекли Авдотью в малую гостиную, предоставив Алексею обсуждать со старшим Щербицким герцога Ольденбургского с графом Аракчеевым. Скрываясь за дверью, Дуня почувствовала себя виноватой: Алешино лицо чуть не позеленело от предстоящей дискуссии на ратные темы – войну он ненавидел, чем вызывал в лучшем случае недоумение, а в худшем – пренебрежение среди патриотически-восторженной молодежи. Увы! Здесь, в Трокском уезде, никто не мог, да и не желал поддерживать беседу о «Über das Erhabene»⁸.

– Надобно успеть поболтать, покамест не позвали к обеду... – усадила Авдотью в кресло Мари. Княжна оглядела подруг скорым, но цепким взглядом. Москва неплохо снабжалась модным товаром, но между Кузнецким мостом и Невским проспектом все еще существовал некий зазор, и Дуне никак нельзя было выказывать себя провинциалкой. Никаких «Журналь де дам» не требовалось: кивая сестрам, Авдотья впитывала ультрамодные детали, чтобы после поделиться ими с верной Настасьей. – У нас столько новостей!

– Мы вчера были в Вильне! – выпалила Анетт. – Видели государя!

– Граф Беннигсен устроил праздник в своем имении в Закрете!

– Бал был блистательный – и туалетами, и освещением. Светло, как днем!

– А сколько цветов, Эдокси!

– У каждой дамы по букету у куверта!

Авдотья, переводя взгляд с Анетт в розовом на Мари в бледно-лиловом, некстати вспомнила нелестную характеристику, данную братом. Нет, конечно, не галки, а райские птицы, но...

– А у графини Закревской из декольте выпала грудь – прямо в тарелку с заливным! – перебила ход ее мыслей Мари. – Сама Закревская! И с грудью среди телячьих мозгов!

– Так не поверишь, она даже не прервала беседы с прусским посланником – обтерла ее салфеткой и уложила обратно в платье! Ни на йоту конфузливости – настоящая светская львица!

– А еще был фейерверк и катание на лодках! – продолжала захлебываться впечатлениями Анетт.

⁸ «О возвышенном» (нем.) – эстетический трактат Ф. Шиллера.

– И государь, ах, какой красавец, Эдокси! Стройный, высокий, глаза голубые, белокурый!
– А как ему идет форма Преображенского полка!
– Уже месяц живет в Вильне, и, право, город не узнать! Весь день он на смотрах и маневрах, вечером увеселения...

– А как же Буонапарте? – прервала поток славословий Дуня.
– Все говорят о войне как о деле решенном! – отмахнулась от неприятного вопроса Анетт.
– Папá твердит, что если что и начнется, то и закончится тут, в западных губерниях. Нет никакой опасности для собственно русских земель. Наши молодцы дадут решительное сражение, и Наполеону ничего не останется, как сдаться, – пожалала плечами Мари, явно повторяя слово в слово сказанное папенькой.

– Если наша гвардия сражается так же хорошо, как танцует... – мечтательно добавила Анетт. – Ах, Эдокси, мы ни разу так хорошо не проводили время, как этим летом! Даже масленичные балы в Аничковом, хоть и никакого сравнения, но зато чопорные, а тут видишь государя так близко, никто не кичится, все наслаждаются катаниями в открытых колясках, и теплыми летними вечерами, и музыкой...

– А впереди еще все лето! Подумай только, Эдокси! – И Мари облизнула губы, как кот перед сливками. – Целое лето!

* * *

По будням у Щербицких накрывали приборов на сорок. Взлетали парусами белоснежные скатерти. Звенел, ударяясь о русское серебро, французский фарфор. Слуги без суеты представляли бутылки и графины (никаких дешевых цимлянских вин и самодельного шампанского из смородины! Из Петербурга загодя были отправлены в усадьбу токай и рейнвейн, малага и мадера, а также вездесущая вдова некоего Клико). Одновременно со звоном брегета Щербицкого-отца раздался звук колокольчика, и дворецкий провозгласил: «Кушание подано». Счастливый родитель Анетт и Мари – Лев Петрович – первый занял место во главе стола. Подле него, прошелестев платьем, села супруга. А далее – дочери, гости, приехавшая навестить дальняя родня и приживалки, столь древние, что продолжали по моде изящного и пошлого XVIII столетия туго стягивать себе талию, и чуть поскрипывали при ходьбе (в описываемую краткую эпоху к страстному дыханию возлюбленных не добавлялся много менее романтичный скрип корсета – единственно по той причине, что корсет был отменен и женщины, как рабы, извлеченные со своей галеры, пару десятилетий дышали свободно). Слуги ловко отодвигали стулья, на которые опускались более или менее объемные седалища. На противоположном от сына конце стола поместился отец Льва Петровича – согбенный годами, но не нравом генерал Щербицкий со своей французской певичкой, кою прочие дамы привычно игнорировали. Мельком перекрестившись – как говорится, машинально – приступили к трапезе. Лакеи бросились разносить тарелки по чинам, зажевали уста, загремели приборы, полилась, разбавляя благородное вино, в бокалы сельтерская (в жесте, который безжалостно осудят современные сомелье, в то время не было ничего провинциального: водой разводил рейнвейн Байрон, ему вторил, разбавляя шампанское, один из Людовиков). Фимиам от телячьих волованов смешивался с запахом душистой кельнской воды (от всех мужчин) и ароматом резеды (от большинства дам) – тем, кто алкал разнообразия парфюмерных ароматов следовало запастись терпением. Примерно еще на полвека. В разных концах стола пошла своя беседа.

– Год высокосный, мон шер, всего ожидать можно... Как в Каракасе земля тряслась⁹ – так бы и с нами, грешными...

⁹ 26 марта в столице Венесуэлы, городе Каракасе, произошло разрушительное землетрясение.

– Мужик нынче пошел умный – ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, говорит, а оброк положите, какой сами знаете. Вот я и положил...

– ...сия дама пишет весьма занимательно, однако ж предпочла остаться анонимом – подписывается «Леди»...¹⁰

Всякий раз, как лакей вносил новое блюдо, сквозняк приподнимал легкую штору высокого окна, трепетали воздушные рукава ампирных платьев дам и легкие, как пух, старческие бакенбарды Щербицкого-отца.

Напротив Авдотьи оказался еще один добрый их сосед – барон Габих. Очень высокий, с длинным яйцеобразным голым черепом, он вечно шурил черепашьи глаза, даже когда не держал в руках лорнета. Барону было за сорок лет, однако он еще очень молодил себя и под идеально пригнанным фракком явно носил корсет (талиа в те годы считалась таким же мериллом и мужской привлекательности, как нынче развитый трицепс). Авдотье Габих был любопытен: хотя бы тем, что никогда не говорил глупостей. В отличии, к примеру, от хозяина дома – мужчины не великого ума, сосредоточенного большею частию на жизни своего желудка.

– Алмаз кухни! – кипятился, перекрывая прочие голоса, Лев Петрович. – Почему же нельзя найти его в российских дубровах? Неужто наши хавроньи глупее итальянских?

Габих с непроницаемым лицом кивал, а лакей серебряной лопаточкой перекладывал с блюда на тарелку севрского фарфора ломтик заячьего паштета.

– Возьмите, барон, к примеру, сей паштет! Ведь каково бы ни было его основание, наполненный трюфелями, он становится как табакерка, осыпанная бриллиантами!

– Трюфли! – хмыкнул старик Щербицкий с другого конца стола. – Неспроста их свиньи в грязи ищут. – Он недобро сощурился. – Зря стараешься, не выйдет амуров у французского foie gras¹¹ с православной кулебякою!

Рядом сидевшая певичка-француженка испуганно взглянула на старика, и тот успокаивающе накрыл ее белоснежные полные пальцы своей увитой синими венами рукою. Все дамы за столом, кто с усмешкой, кто с брезгливой гримасой, не преминули заметить этот жест. А Авдотья обменялась смеющимся взглядом с братом – сам старший генерал и был той самой кулебякой, живущей во грехе со своим французским деликатесом.

– А как по мне, ничего лучше штей нет, а без них и телячьа похлебка сгодится, а то и рассольник с курицей! – продолжал генерал. – А бабка сего (тут, отлепившись от французской ручки, кривоватый от артрита перст указал на хозяина дома) гурмана, покойная Марфа Яковлевна, так и вовсе без каши дня не могла прожить. Обожала ее – и манную, и пшеничную, и крутую, и размазную, с изюмом, с грибочками, с мозгами да со сметочками...

Мари, чуть закатив глаза (разговор все дальше уходил от изысканной гастрономии), заметила:

– В прошлом году папа хотел натаскать наших гончих на грибную охоту. Давал щенкам лизать свои руки в трюфелях и выбирал самых к делу пригодных. И что вы думаете? Ни единого гриба не нашел – все сызнова выписал из перигорских лесов.

– К слову, о трюфелях, – пригубил барон венгерское. – Как вы знаете, император – их большой поклонник.

– Государь? – вскинулся Щербицкий, ободренный неожиданной поддержкой своей невинной страсти в высоких сферах.

– О нет. Я говорю об императоре Буонапарте.

– Этот воссевший на престоле Людовика маленький поручик имеет такое же право на императорство, как и я, – нахмурил брови Щербицкий и, кашлянув, добавил: – Впрочем, коли так, ему нельзя отказать во вкусе.

¹⁰ Речь идет о первой публикации Джейн Остин, романе «Чувство и чувствительность».

¹¹ *Fuаgra* (жирная печень) (*фр.*). Специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки.

Габих чуть склонил яйцеобразную голову.

– О да. А также в наличии непобедимой армии.

Анетт с Мари переглянулись с недовольными гримасками – никакая трюфельная тема не могла перебить тему военную, если за столом собиралось более двух мужчин.

– Похоже, Европа, колыбель христианской цивилизации, оказалась слишком мала для его амбиций. – В беседу неожиданно включился Алексей, и влюбленная Мари тотчас отложила вилку и стала слушать его с повышенным вниманием. – Это будет нашествие галлов – вслед за Александром Великим и Карлом XII.

– Именно! – воинственно закивал Щербицкий-отец. – А что нашли вместо сокровищ? Сырую могилу!

– Могил будут тысячи, – негромко, глядя на растекающиеся по тарелке остатки желея, ответил Алексей. – И как бы весь цвет русской аристократии в них не оказался. – Он помолчал. – Долго еще Россия станет оправляться от нашествия сего. Так, может, попытаться решить дело миром, покамест еще не поздно?

Алексей обвел мечтательными глазами сидевших вокруг стола – но встретил лишь упрямо выставленные вперед патриотические челюсти. Еще чуть-чуть, испугалась Авдотья, и они обвинят брата в трусости, и только хотела поднять голос в его защиту, как...

– Поздно. – С противоположного конца стола Алексею улыбался Габих – от змеиной улыбки повеяло, как сквозняком, угрозой. – Прошлой ночью войска Буонапарте перешли Неман.

За столом все замерло – ни звона приборов, ни звука дыхания. Габих с намеренной медлительностью промокнул крахмальной салфеткой тонкий рот, перевел глаза с побледневшего Алеши на приоткрывшего рот хозяина дома. А Дуня только удивилась про себя: не на черепаху стал похож барон, а на птицу. Да. На грифа, сидящего высоко на скале и оглядывающего долину в поисках падали.

– Началась война, господа.

Глава третья

В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и войну с Англией. Ныне нарушает она клятвы свои и не хочет дать никакого изъяснения о странном поведении своем, пока орлы французские не возвратятся за Рейн, предав во власть ее союзников наших. Россия увлекается роком! Судьба ее должна исполниться. Не почитает ли она нас изменившимися? Разве мы уже не воины аустерлицкие? Россия поставляет нас между бесчестьем и войной. Выбор не будет сомнителен. Пойдем же вперед! Перейдем Неман, внесем войну в русские пределы.

Наполеон Бонапарт

Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского солдата не останется в царстве моем. Не остается нам ничего иного, как, призвав на помощь Свидетеля и Защитника правды, Всемогущего Творца Небес, поставить силы наши против сил неприятельских. Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами. На začínающего Бог.

Александр Первый

Есть нечто странное, почти неестественное в доверии человека миру, который, казалось, не дает на то никаких оснований. Откуда берется в нас эта счастливая бездумность, эта уверенность в порядке вещей, в незыблемости цивилизации? Неужели, задаем мы себе снова и снова бессмысленный вопрос, накануне катастрофы наши предки не чувствовали угрюмой поступи рока за спиной? В июне 1941-го? В июне же – 1812-го? Мы смотрим на умиротворенные лица на акварелях позапрошлого века, смеющиеся – на черно-белых фотографиях века прошлого. «Бегите! – стучим мы в непроницаемое стекло времени. – Спасайтесь! За вами – девятый вал, он раздавит вас, не оставив ничего живого!» Но они не слышат нас. А тем временем за нашей собственной спиной набирает глухую силу следующая волна...

Алексей с дядькой своим, Фомичом, добрались до Вильны за день до вхождения неприятеля. Город был в панике. Будто и не предполагалось годами столкновения с Буонапарте, будто не затем государь со свитой добрался до Вильно. А война вдруг явилась в полный рост, и француз оказался в нескольких верстах от усадьбы генерала Беннигсена: там, где еще совсем недавно царствовала в свете сотен свечей прелесть убранных бриллиантами обнаженных плечей польских и петербургских красавиц, блистало по-театральному пышным блеском золото гвардейских эполет, раздавался мелодичный звон хрусталя и шпор.

Нынче же ужас и растерянность были повсеместными. Вся светская толпа в сопровождении более тысячи обозов эвакуировалась атаманом Платовым из города по дороге на Минск через Новогрудок. Густое облако пыли, сопровождавшее движение множества копыт и повозок, не позволяло определить глубину колонны. Знойное марево усугублялось пожаром – горели подожженные Платовым же провиантские магазины и склады. Грозилась сей же ночью сжечь и мосты через Вилию, на которых в полной давке пытались разойтись экипажи. Вельможи с влажными от пота лицами прижимали надушенные носовые платки к носам – тревога, будто вирус, носилась меж каретами: панический страх перед гением Наполеона овладевал всеми. С потерянной тоской вглядывались столичные чиновники на маршировавшую рядом отступающую армию. Колонны шли ровным строевым шагом – в войсках настроение было, напротив, приподнятым. Люди на днях получили двойное жалованье. В армию прибыли свежие офицеры, свежие солдаты, свежие лошади. Тысячи людей с мерным топотом и бряцанием

штыков двигались по загроможденной повозками дороге: чуть потускневшая от пыли пехота, расфранченная кавалерия в синих, красных, зеленых мундирах; артиллеристы, сопровождавшие подрагивающие на лафетах до медного блеска пушки. Глядя на вьющуюся до горизонта тяжелую ленту отступающей армии, Алексей чувствовал в сердце странное помертвление: ему казалось, он уже умер. Умер еще до того, как впервые пошел в атаку. Едет рядом с гусаром с глупым лицом, будто герой средневековых преданий, бледный призрак некогда живого рыцаря.

А гусар рядом, распространяя вокруг себя запах кельнской воды (явно имеющий целью заглушить ароматы вчерашней попойки), так явно любовался красивой формой своих ног под натянутыми чикчирами и был таким пошлым и таким живым, что Алексею захотелось вдруг завести с ним ничего не значащую беседу о пустяках и так очнуться от напавшего на него наваждения. Но он все не знал, как начать разговор. Тогда гусар с выражением пресыщенной скуки сам повернулся к Алексею. Встретившись глазами и поклонившись, молодые люди представились друг другу – сквозь обожаемый французским императором о-де-колонь на Алексея и верно пахнуло зубровкой.

– Нынче многие отбились от своих частей – бежим, как зайцы. Впускаем наполеонову гидру в Россию-матушку. Так недолго и войскам поддаться унынию. Здесь, на границе следует драться с неприятелем! Как полагаете? – И широко улыбнулся, с легким пренебрежением глядя на красавца барчука в новеньком с иголки мундире.

Тут только заметил Алексей, что голубые глаза гусара верно бешеные: будто за этой ясной голубизной таилась бессмысленная и неостановимая в своей бездумности веселая ярость, которой только дай повод – пойдет рубить, колоть, и резать.

И почувствовал, как пустота внутри уступает место физической тошноте – Алексей снова ощущал себя живым, но ощущал прескверно. Отстав под надуманным предлогом от гусара, он тронул лошадь чуть в сторону и его вырвало на серую от пыли траву на обочине. Фомич подал чистый платок, покачал головой: эх, барин, барин... Обтерев рот, Алексей вернулся на дорогу и ехал остальную часть пути шагом, рядом со своим дядькой, не произнеся более ни слова.

На закате утомленные долгим переходом лошади потребовали отдыха. Один за другим зажглись в поле близ дороги костры биваков. От солдатских привалов потянуло гречневой кашей и щами. В офицерских же кружках слышался смех, хлопки вылетающих пробок от шампанского, ругательства по-французски, переборы гитарных струн, так и не вылившихся в песню. В быстро густеющей южной ночи горела синим пламенем подоженная с ромом сахарная голова для жженки.

Алексей, вежливо отказавшись присоединиться к будущим своим товарищам, отослал Фомича чистить и поить лошадей, поужинал пирогами с телятиной, от которых вместе со сдобным духом будто пахнуло безмятежностью Приволья, запил чаем и, закутавшись в плащ, заснул.

* * *

Слухи стекались в Приволье, как ручейки в озеро: Александр с армией покинул Вильну. Французы вошли в него освободителями. Говорили, что весь город высыпал на улицы: крыши, башни и колокольни были покрыты зеваками, чающими первыми увидеть императора. В окнах домов тех улиц, по которым проезжал корсиканец, были выставлены ковры, знамена, вензеля его. Польские дамы, приветствуя, махали ему платками, а новонареченный президент города, генерал Ляхницкий, самолично отдал с поклоном золотые ключи от городских ворот.

Через Вильну безостановочно проходили войска: кирасиры в блестящих латах на испанских конях, мамелюки в чалмах, с кривыми и широкими саблями на боках, смуглые, гортанно смеющиеся испанцы... А за ними – австрийцы, баварцы, саксонцы, пруссаки, вестфальцы и хорваты. И завершением, апофеозом – величественная старая гвардия: медвежь

шапки, грудь, украшенная крестом Почетного легиона, рукава с множеством шевронов... Все это было похоже скорее на парад, чем на войну.

– Почему они не дерутся?! – бросал тем временем возмущенно в Приволье ложку в овсяный суп¹² Николенька. – Почему впускают француза?!

Князь был темен лицом, княгиня заплакана, Авдотья бледна как полотно.

– Французы – молодцы, – сухо бросил Липецкий скорее себе, чем сыну. – Идут в атаку храбро, при рукопашной стоят до последнего, стреляют метко. Сколько мы их положили под Пултуском, Прейсиш-Эйлау, Фридрихс-Фельдом – не сосчитать. А все лезут. – И добавил, помолчав: – Бить неприятеля надобно, объединив армии.

Князь справедливо полагал, что отступление вызвано необходимостью воссоединить разрозненные по бескрайним границам империи силы. Войска имелись и на севере, близ только что отхваченной у шведов Финляндии, и на юге – у берегов Турции и Персии.

– Барклай свое дело знает, – успокоительно кивал его сиятельство скорее самому себе, чем испуганным домашним. – И шведа бил, и турка, и француза. – И закончил горько, с нажимом: – И поляков.

О да, поляки.

Одно дело – турки. Война с ними, как хронический насморк, была и будет вечным аккомпанементом российской внешней политики – со времен Ивана Грозного и до Брестского мира. В более философском смысле, конфликтуя с Византией, Россия столетие за столетием все пыталась исторгнуть из себя Восток, прилепившись к Западу. Задача, увы, по сию пору не решенная.

Иное дело – братья-славяне. Пусть никто не рассчитывал, что изрядный кусок Речи Посполитой, ставший частью империи всего семнадцать лет назад, проявит чудеса верности российскому престолу (как тут заодно не вспомнить, чем окончился для России раздел Польши полтора столетия спустя?). Губерния так и оставалась польской, польскими были и губернаторы. Но русские дворяне чувствовали себя в ней вполне вольготно: общались с соседями, устраивали свадьбы между семьями, вместе пировали, танцевали и играли в вист. Да что там западные губернии! Разве Петербург не был центром польской аристократии? Разве не заседала шляхта в русском Сенате? А шляхетские отпрыски разве не зачислялись в кадетские корпуса, а знатнейшие – в привилегированный Пажеский корпус, откуда шла прямая дорога в гвардию?

Видеть столь мгновенное предательство было невыносимо. Поляки явно предпочитали французскую оккупацию русской. Обмен визитами меж дружественными всего неделю назад домами прекратился.

– Зашевелились чертовы ляхи, – рассказывал приехавший на следующий день к Липецким сосед Верейский, уединившись с князем в курительной. – Уже в открытую препятствия чинят при покупке провианта и фуража для отступающих русских полков. Говорят, цены их не устраивают. Скоро-де некто другой, более щедрый, заплатит им вдвое. Вот, полюбуйте-ка! – И он бросил на стол свежий номер «Литовского вестника». – Во всех виленских костелах служат торжественные молебствия по случаю «победоносного движения армии Наполеона». Да-с! Пишут-де, «цепей больше нет! Можно свободно дышать родным воздухом. Сибирь уже не ожидает вас, и москали сами принуждены искать спасения в ея дебрях». Каково, князь, читать сие?

Читать сие было крайне неприятно. Но не это оказалось самым грустным. Как-то мгновенно собрался и отправился в свой полк Алеша – Дуня не успела даже толком с ним попрощаться. Отец дал сыну традиционное напутствие перед отъездом: беречь платье снову, а честь смолоду. И даже не позволил заплаканной княгине проводить сына до ворот. Так и стояли

¹² В XIX веке – овсяная каша.

потерянно вчетвером на крыльце: хмурый папенька, рыдающие Дуня с Александрой Гавриловой, мелко крестя удаляющуюся конную фигуру, и Николенька с детскими злыми слезами в глазах – отчего уродился он так поздно? Вот и на эту войну не попал! А князь, так и не дождавшись, когда всадник исчезнет за поворотом – тьфу ты, бабьи слезы, – втолкнул их в дом и лишь потребовал за ужином подать ерофеича, а выпив рюмочку, вздохнул:

– Что, княгинюшка, спущен корабль на воду; отдан Богу на руки?

Чем вызвал новый поток слез своих домашних.

* * *

*В ужасах войны кровавой
Я опасности искал,
Я горел бессмертной славой,
Разрушением дышал;
...Друг твой в поле появится,
Еще саблею блеснет,
Или в лаврах возвратится,
Иль на лаврах мертв падет!..*

Денис Давыдов

*Tout hussard qui n'est pas mort à trente ans est un Jean-foutre.
Antoine Lassalle¹³*

Проснулся он будто от звука детской хлопушки. Трап-та-та-тап! – раздавалось вокруг; заспанный Алексей резко сел, с обидой чувствуя, как уходит в холодный рассветный воздух накопленное за ночь внутри плаща тепло. Красное солнце вставало над полем рядом с дорогой. Он видел, как, прислушиваясь к наступившей тишине, приподымаются на локтях солдаты. Трап-та-та-тап! – раздалось опять, и тут уже вокруг стали вскакивать, мгновенно очнувшись от утренней дремы, ветераны австрийской и турецких кампаний – они узнали этот звук. Алексей заметил, как охваченные медвежьей болезнью побежали справлять нужду к опушке леса солдаты. Ему приходилось слышать от отца об этой унижительной реакции тела на страх перед боем, но в себе он ощутил лишь постыдную тошноту.

– Французы! – услышал он. – В колонну, к атаке стройсь!

Всем было ясно: их настиг авангард наполеоновской армии. В поднимавшемся от Свенты тумане, впрочем, не было видно ни зги.

Пыль, тяжелая от росы, едва вздымалась под копытами. Егерскому полку, к которому временно прикомандировали Алексея, дано было приказание идти на рысях по дороге. Эскадрон объехал пехоту и батарею, также торопившуюся идти скорее, спустился под гору ближе к реке. Лошади взмылились, люди раскраснелись.

– En avant! Vive l'empereur!¹⁴ – вдруг услышал он в тумане впереди и вздрогнул.

С противоположного берега донеслись первые пушечные выстрелы. Ядро, с шипением взрывая землю, прыгнуло по берегу совсем рядом с его лошадьё. Еще секунда – и за мгливой взвесью, будто за полупрозрачным платьем тюль-илюззон сестры Авдотьи, встала темная колонна огромных коней с сидевшими на них мощными всадниками. Сама внезапность их появления и

¹³ Всякий гусар, что не погиб до тридцати, ничего не стоит. (фр.) *Антуан Лассаль*, генерал кавалерии наполеоновской армии.

¹⁴ Вперед! Да здравствует император! (фр.)

чудовищные размеры ошеломили Алешу. В разрываемой утренними лучами дымке они казались сошедшей с небес древней армией Вальгаллы. «Полно, не предрассветный ли то кошмар?» – подумалось ему. Но нет, всадники были явью – пред ним явились знаменитые кирасиры, тяжелая кавалерия маршала Удино. Последние клочья тумана разлетелись, и глаз смог по достоинству оценить гигантов в блестящих латах с развевающимися на шишаках конскими хвостами. Казалось, легкая российская конница не способна пробиться сквозь грозную стену и страшно было это величественное в своей медлительности движение. Тем не менее гродненский эскадрон, не тормозя переходящей в галоп рыси своих лошадей, и сотня Донского казачьего полка Родионова врезались во француза.

Машинально осадив лошадь, Алексей увидел впереди в мгновение ока смятую французскими латами русскую кавалерию. Сзади затрещал ружейный огонь – пули визжали вокруг него, проносясь в самой малости от рдеющих щек. Ему чудилось – он видит их полет. Впереди началась страшная кавалерийская резня: сталь заскрежетала о сталь – загуляли сабли, закричали, раздавая и получая удары, всадники, из свежих ран хлынула кровь, но Алеше отчего-то казалось, что двигаются они все медленно, будто во сне. Ужас охватил его. Вокруг плясала смерть. Сотресь землю рядом, тяжело упал прямо перед ним раненый кирасирский конь – чудовище весом не менее тонны. Алексей содрогнулся вместе с падением этого тела, вдохнул пахнувший кислым порохом и железистым запахом крови воздух, и на него будто нахлынуло безумие, подсмотренное в глазах давешнего гусара. Денис Давыдов изрек бы по этому поводу нечто весьма поэтическое, но с приобретенным за двести лет опытом военных действий, мы знаем, что безумцем Алеша не стал: это адреналин разнес по молодому телу бездумную ярость. Отдаваясь гулом в ушах, сердце князя разогналось до 175 ударов в минуту. Сузились, ограничивая доступ кислорода, сосуды. Иными словами, мозг его сиятельства, до отказа забитый философскими штудиями, отключился. Повторимся: князь не стал безумцем. Он превратился в животное.

Дрожа от возбуждения каждым членом своим, будто взявшая след породистая гончая, до боли смыкнув челюсти, он с силой ударил своего жеребца, пустив его в освободившуюся от упавшего коня брешь в рядах кирасиров. Страх ушел – он был наконец свободен. Свободен – и оттого непобедим, князь летел, как на пир, в середину сечи! Ясно и крупно, как в театральный лорнет, он увидел лицо ближайшего французского офицера – раскроенную от подглазья до губы щеку, дергающийся слезящийся глаз. Это изуродованное лицо уже не могло, не имело права жить. В нем не было ничего пугающего, ничего от воина Вальгаллы. И оттого, ни секунды не раздумывая, Алеша бросился на офицера.

Горячий аллюр рыси перешел в галоп, и лошадь Алексея, заразившись от хозяина его неистовством, скаля зубы, ударила грудью со всего размаха жеребца француза, сбив того с ног. С громким ржанием, потерявшимся в шуме боя, упавший конь придавил хозяина. Тот закричал – у несчастного были раздавлены ноги – и стал совершенно беспомощен. Алексей, в том же упоении бешенства, поднял саблю и ударил ею француза по голове – крест-накрест, еще и еще раз. Лицо офицера уже было залито кровью, изо рта пенились кровавые пузыри, он закрыл глаза, даже не пытаясь защищаться, а Алексей, крича, но не слыша собственного крика, склонился о левое стремя, навис над ним и все рубил по не защищенным латами рукам и шее в синем мундире, пока они не превратились в сплошное месиво. Кровавый пузырь из рта офицера лопнул. Француз был мертв.

В то же мгновение Алексей вдруг почувствовал слабость и тепло у виска и, с удивлением на себя самого вдруг сползши влево, соскользнул с кобылы, с которой еще несколько минут назад был одно целое. Ударилась о подрагивающую землю голова, в глазах потемнело. Он уж не видел ничего, не различал ни воплей, ни звона оружия, не чувствовал дыма и привкуса селитры в воздухе. Он лежал, будто под тяжелым слоем воды, и испытывал похожее на сновидение чувство. Недавнее бешенство отхлынуло, оставив одну странную растерянность.

Совсем рядом с его лицом лежал тот самый мертвый кирасир с залитыми кровью закрытыми глазами и распахнутым кровавым ртом. А дальше, над ним, продолжали рубиться какие-то люди, однако все они казались лишенными цвета, серыми, неважными. Он чувствовал, что умирает, и не желал их видеть, отвлекаться на них. Застонав и сам не расслышав своего стона, Алексей повернул голову вверх и попытался успеть додумать что-то очень значительное. Что ж это было? Не долг, не любовь к Отечеству, что привели его сюда, – они оказались обманом. Ничего не оставалось на этом поле, кроме озверения человека. И за этим, а вовсе не за любовью здесь и сошлись и русский, и француз. Хуже того: как Алеша ни тщился, он уже не мог вспомнить, что означали вещи еще более важные – Добро, Красота, Истина. Мир войны был не просто далек от них – он отталкивал от себя живую человеческую душу. «Ежели по Гегелю, – думал Алексей, не обращая внимания на горячую кровь, часто капавшую из пульсирующего виска прямо в ухо, – мышление и бытие тождественны. Но что творится с мышлением, когда его окружает такое бытие?»

Отчаявшись сам дойти до ответа, он, подобно другому литературному герою, пристально вглядывался в бледное, еще не налившееся голубизною небо. Но, в отличие от князя Андрея, успокоение не снизошло на Липецкого: небеса над ним оказались пусты. Пусты, как давно покинутый дом. И поняв это, он просто закрыл глаза.

Глава четвертая

*Кто сей путник? И отколе,
И далек ли путь ему?
По неволе иль по воле
Мчится он в ночную тьму?*

Петр Вяземский

Шли дни, а от Алеши не было вестей: брат пропал, как камень, брошенный в воду. И пусть этот отступательный поход в разгар летнего тепла не мог считаться пока ни опасным, ни даже тяжелым, Александра Гавриловна и Дуня не спали ночами, воображая себе всякие ужасы, могущие случиться с их нежным книжным мальчиком. Князь, видя это, злился: «Забыл о вас Алексей, дуры, вот и не пишет! А если и печалится, то разве что о том, что надобно ему будет выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны...»

И верно: кроме отсутствия в доме старшего брата и тягостного чувства нависшей над огромной страной беды, ничего в Приволье не поменялось: все так же деловито жужжали шмели, сыростью дышал барский пруд, созревала в теплицах садовая земляника. И казалось, гидра наполеоновских армий, так и не шевельнув занавес летнего зноя, обойдет Приволье стороной. Что запах жасмина оградит от всех несчастий, да и что нет их вовсе, этих несчастий, пока...

* * *

Первое горе случилось в ту грозовую ночь. Дуня проснулась от внезапного ливня, забившего тяжелыми струями в окно, и конского ржания. Спали все чутко: ночью оживали убаюканные дневным зноем страхи. Растолкав примостившуюся у порога на войлоке¹⁵ Настасью и выгнав ее поглядеть на крыльцо, Авдотья застала в коридоре испуганную мать в чепце и ночной сорочке. Еще пять минут потребовалось, чтобы обнаружить пустую постель младшего брата с сумбурной запиской, где говорилось про честь русского оружия, конечно же. За беглецом тут же выслали отряд во главе с управляющим. В смертельном беспокойстве дождались хмурого рассвета; к тому времени княгиня уже выплакала глаза и выпила до дна флакончик гарлемских капель, а князь все не мог избавиться от приступа надсадного кашля и лишь зло топал больной ногой – с тоски и беспокойства ныло полученное от турка штыковое ранение в правую ляжку.

Дуня, обхватив себя руками, стояла в домашнем платье у окна гостиной и смотрела в высокое окно, чтобы первой заметить сквозь пелену зарядившего ливня небольшую игреневую кобылку Николеньки – Дидону. Но вместо этого на подъездной аллее показался неизвестный на крупном вороном жеребце. Темный всадник шагом двигался к дому, и вскоре Дунин глаз заметил детали: укутанная в плащ-пелерину фигура, высокий кивер и жалкий под дождем мокрый султан. Порыв ветра приоткрыл грудь незнакомца – красные шнуры на темно-синем, золоченые пуговицы. Не пытаясь смахнуть со щек и усов попавшие на них дождевые капли, всадник спешил к высокому крыльцу и поднял глаза прямо на окно гостиной, у которого, будто загипнотизированная мистиком Калиостро, стояла Авдотья. Отпрянув за жаккардовую гардину, она успела отметить, что всадник прибыл не один – там, где серое полотно дождя

¹⁵ Сенные девушки спали на полу у порога в господскую спальню.

почти скрывало львов на старых въездных воротах, теснились тени. И их было много, очень много.

* * *

Та ужасная ночь – на 17 июня – дорого далась и наполеоновским войскам на марше: от неожиданного в летнюю пору яростного дождя с градом и снегом пали тысячи лошадей. В кавалерийском лагере земля покрылась трупами не перенесших холода животных. Эта буря была знаком, морозным дыханием судьбы. Но знак, как водится, разгадали слишком поздно.

Николеньку вернули в тот же день. Мальчишка взмылил свою кобылу скачкой через поля, а переправляясь через реку, пустил вброд там, где брода не было. Дидона завязла в суглинке. Сумку, куда брат сложил пару белья и хлеб с куском лимбургского сыра, унесло течением. И его бы, дурака, унесло, если б вовремя не подоспели. Домой он вернулся за спиной управляющего Андрея – мокрый, дрожащий крупной дрожью, так и не заметивший, что Приволье теперь оккупировано врагами.

Батюшка вышел беседовать с офицером и вернулся с безрадостным известием: к ним на постой явился конный артиллерийский дивизион француза: всего около двухсот пятидесяти человек и пятьсот животных. Да две батареи по двенадцать орудий. К если не хорошим, то утешительным известиям можно было отнести обещание офицера: мародерствовать его молодцы не собирались. Фуража для лошадей – по три гарнца овса и по двадцати фунтов сена – ежедневного рациона, отпущенного еще в Данциге, им пока доставало с лихвой. Хмыкнув, батюшка заметил, что конная артиллерия, очевидно, пользовалась особенным расположением императора: люди и лошади были полны сил и здоровы. Майор и полковой хирург собирались расположиться в левом, гостевом крыле имения и по возможности не беспокоить хозяев.

– Наполеон ждет покуда в Вильне письма от государя Александра Павловича и еще надеется на мир, – заявил князь на следующий день за ужином. – А его Великая Армия замерла вместе с ним, прислушиваясь к шуму российских дубрав. Это затишье перед грозой, – витийствовал батюшка, отрезая себе изрядный кусок холодной буженины под луком.

Княгиня вопреки обыкновению своему, не подала к вечерней трапезе ничего горячего; Александре Гавриловне было не до обсуждения меню и даже не до войны с Буонапарте: у Николеньки вторые сутки держался сильный жар. Он бредил. Матушка с Дуней весь день провели у его постели, вечером их сменяли Настасья с Николенькиным дядькой. Последнего матушка винила, что старый пес не знал о победе питомца, и приказала высечь на конюшне, где за экзекуцией бесстрастно наблюдали французские солдаты. В тот же вечер послали за дохтуром Левандовским и на другой берег реки – к известной на весь уезд травнице. Новости пришли неутешительные. К отчаянию маменьки и отвращению князя, выяснилось, что Левандовский записался в полковые врачи в польский корпус Понятовского, а травница сама лежала в жару и никого к себе не пускала. Врача еще можно найти было в Вильне, но вряд ли стоило рассчитывать на его приезд. На дорогах нынче с равной легкостью расставались и с кошельком, и с головой – наступающая армия не всегда отличалась любезностью «нашего француза», как меж собой называли Липецкие остановившегося у них командира. Так, дворня приносила неутешительные вести из соседних деревень: разношерстная наполеоновская солдатня грузила полковые повозки вместо провианта награбленным имуществом, потехи ради выламывала двери и окна, крушила мебель, забирала скот и травила посевы, скармливая незрелые хлеба лошадям. Однако вокруг Приволья «их» майор выставил часовых, и в деревне Липецких, где расположился дивизион артиллеристов, все пока было тихо и пристойно, без происшествий.

Авдотья же если и выходила из дома, то только со стороны сада – там возможность пересечься с вражескими артиллеристами была минимальна. Забравшись в беседку, тщилась она читать романы, но романы были по преимуществу написаны французами и на языке неприя-

теля: о ту пору российский читатель знал Шекспира и Байрона, Гете и Ариосто исключительно во французских переложениях. И потому, проникнутая духом патриотизма, моя княжна с сердцов¹⁶ отбросив книжку, вставала над обрывом, уставившись на ленивые воды речки, являя собой прелестную картину в развевающемся на летнем ветерке легком платье. И так проводила часы, жалея лишь об одном: что не успели они сняться с места и вернуться домой, в Москву, прочь от земель лицемерных поляков. И еще вспоминала о своей беседе с Алешей тогда, в лесу. Как не хотел брат идти на войну, боялся вражеского ядра, а вот теперь у нее самой под боком французские пушки. Покамест, по счастью, в чехлах.

Ночью Николеньке стало хуже – он кричал в бреду: «Пропустите меня, я адъютант главнокомандующего!» И все метался, а потом вдруг замер на мокрых простынях и почти перестал дышать, лишь подрагивали сизые, как у покойника, веки. Тут уж кричать стала княгиня, и князь увел ее в спальню, а Дуня приказала девушкам сменить простыни на сухие, а закрыв за ними дверь, осталась у постели брата молиться. «Владыко Вседержитель, – горло ее сжималось рыданием, слезы отчаяния застилали глаза, – брата нашего Николая немощетвующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели...» Но, изредка поглаживая ледяные пальцы брата, Авдотья отчего-то знала, что молитва не помогает и что ее еще вчера веселый, похожий на резвящегося щенка братец ускользает все дальше и дальше... Туда, где он – адъютант командующего всех небесных ратей, скачет на белом коне чрез небесные кущи.

Под утро, чувствуя, что задыхается в душной, пахнувшей уксусом и шалфеем комнате, Дуня решила выйти на крыльцо проветриться. И тут Николенька застонал тихо и жалостливо, а когда Дуня подбежала и склонилась над усыпанным бисерным потом родным лицом, сказал вдруг четко, будто и вовсе не в бреду:

– Она мертва, вы что, не видите?! Снимите же ее с плота!

– Кто мертва, Николенька? Кто на плоту? – зашептала Авдотья, но брат не очнулся: глаза были все так же плотно сомкнуты и бледные губы больше ничего и не произнесли.

И, приняв последнюю фразу за продолжение болезненного бреда, Авдотья выпрямилась, запахнула капот и, беззвучно прикрыв за собою дверь, вышла.

* * *

Над парком вставала заря, пахло дымом от деревенских печей и сыростью с речки. Утренний каскад птичьего пения, торжество рождающегося дня обрушились на Дуню подобно обвалу – за ее спиной умирал младший брат, старший был на войне и, возможно, уже погиб. «Я одна», – подумала Дуня и почувствовала, как невозможно стало вдохнуть полный прохладной влаги утренний воздух. Одна. Она запрокинула лицо к светлеющему небу, на котором горела страшная комета, но слезы все равно текли, скапливались в углах по-детски дрожащих губ.

– Мне бы хотелось помочь вам, мадемуазель, – услышала Дуня и вздрогнула.

Перед ней стоял давешний офицер. Папá говорил его чин: майор? Капитан? Она уже ничего не держала в памяти, кроме заострившегося Николенькиного лица.

И чтобы не разрыдаться, зло, как дворняжка, ощерилась:

– Вы уже помогли мне, месье. Благодаря войне, начатой вашим императором, мы не можем найти врача. Мой брат... – Голос ее задрожал, и Дуня даже притопнула ногой, раздражаясь на свою слабость в ненавистном присутствии. И от злости смогла произнести страшные слова: – Он умирает, месье. И ни вы, ни я... никто уже не может ему помочь.

– Мы – нет. Зато ему может помочь Пустилье, – сказал сей майор иль капитан, склонив набок курчавую голову. В продолговатых, агатовой черноты глазах француза плескался жидкий

¹⁶ Здесь: в сердцах.

блеск – как у готового тотчас же пуститься резвым галопом породистого аргамака¹⁷. Он был невысок – едва ли на полголовы выше самой Авдотьи. Узкое смуглое лицо будто только и служило обрамлением главному – выдающемуся носу.

«Каков урод!» – успела подумать Дуня, прежде чем поняла, что ей пытаются объяснить артиллерист на своем куртуазном французском.

– Полковой лекарь? – переспросила она.

– Военный хирург. И очень знающий врач, – чуть поклонился француз. – Если угодно, я сейчас же попрошу его осмотреть вашего брата.

– Боже мой! Да, конечно! – Она птицей встрепенулась и вбежала с крыльца в дом: – Маман! Маман!

И только влетев в маменькину спальню и выпалив новость неприбранной княгине, вдруг покраснела, потому как поняла, что не только не поблагодарила уродливого артиллериста, но даже не узнала его имени.

ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДО ОПИСЫВАЕМЫХ СОБЫТИЙ

**Его Высокопревосходительству, действительному тайному советнику
графу Лубяновскому коллежского советника Кокорина донесение**

От мая 28-го 1792 года

На N-ской заставе мне довелось лично допрашивать две беглых семьи, включая малолетних детей, всего 28 душ. Сии несчастные бежали из имения Л., что в N-ском уезде, по причине, как они говорят, лютости хозяина своего. Два месяца, терпя крайнюю нужду, пробирались оне лесами к границам Империи, покуда не были пойманы и допрошены лично мною и коллежским секретарем Телегиным.

По словам сих беглых, деревенский староста не раз обращался в город за помощью к уездному стряпчему, принося жалобы на жестокость помещика своего. Однако хода делу не давали, а, напротив, старосту отправили обратно к господину, где оный староста был порот, а впоследствии затравлен псами до смерти.

С той поры жалобы прекратились, но не прекратились жестокости, и не токмо самого помещика, но и супруги его, отличавшейся особой свирепостью к санным девушкам. Неожиданным же в сих свидетельствах оказалось следующее обстоятельство: барыня у беглых была иногда «черненькая», а в другой раз «беленькая». И так выяснилось, что у N. имелись две жены. Последние «на шестую седмицу друг дружку и поубивали через крысиную отраву». По словам беглого лакея, сам барин на ужине присутствовал и был сим обстоятельством весьма доволен. За всем тем вдовство ввело его в еще пущую лютость. Вызванный на пограничную заставу с целью медицинского осмотра лекарь нашел у беглых следы зубов на плечах, множество знаков от розог, струпья на ягодицах и следы прошиба на голове.

Таким образом, показания беглых о жестокостях сомнений не вызывают. Однако должно получить подтверждение двоеженству N. и единовременной кончине обеих жен-

¹⁷ Южная порода лошадей.

щин. Был сделан запрос к уездному предводителю дворянства, князю К., и в военную коллегию на послужной список вышеобозначенного помещика...

Глава пятая

Война – это не отношения между людьми, но между государствами, и люди становятся врагами случайно, не как человеческие существа и даже не как граждане, а как солдаты; не как жители своей страны, а как ее защитники...

Жан-Жак Руссо, 1762 г. Об общественном договоре

В описываемые нами годы базовой дисциплиной в Московском медицинском университете являлась, как ни странно, философия. Врачебная же наука тогда еле держалась на собственных слабых ножках. Едва избавившись от диктата религии, она нуждалась в новой подпорке: и потому соединение с философией кажется нам уже недурным шагом вперед. Добавок, учитывая имевшиеся малые возможности (первые лекарственные препараты из чистых химических веществ появились в арсенале медиков лет через тридцать), врачам часто оставалось разве что философствовать. Надеялись на здоровую природу: то, что мы ныне называем иммунитетом.

Николеньке повезло – он попал к знающему доктору. Абсолютно седой, круглый, как Колобок, Пустилье был врачом нового образца, выкорыщем революции. Исследуя гильотинированные трупы (отличный, пусть и мрачноватый материал для любознательного ученого!), он отказался верить в догмат о животворящем духе, что приводит в действие мертвую массу тела. Не желал он, по примеру своих старших коллег, и выводить из больного хворь с помощью бесконечных кровопусканий и рвотных. Вместо этого француз тщательно пальпировал своего юного пациента, а после прикладывал к неровно вздымающейся груди мальчика свернутый трубочкой лист бумаги (первый стетоскоп изобретут только через четыре года, а пока управлялись подручными средствами). Расслышав все необходимое, выдавал хинин и собственноручно изготовленные жаропонижающие и отхаркивающие микстуры.

Микстуры ль тому виной, или здоровый юный организм, но вскоре Николенька пошел на поправку. Теперь Пустилье, навещая больного, проводил большую часть времени за обсуждением с ее сиятельством детского меню, полностью одобряя в сем вопросе выбор княгини: поменьше мяса – бульон предпочтительнее для обессиленного после болезни детского желудка. Никаких «возбуждающих напитков» – чая и кофе. Утром габерсуп¹⁸. Весь день – обильное питье (отвар лопуха и молочная сыворотка). Умеренность в обед: одно мясное или рыбное блюдо и десерт. Молоко с хлебом или каша – на ужин. Ягоды – на полдник. В соответствии с принципами Руссо – ни сахару, ни духов¹⁹. Александра Гавриловна суетливо кивала, и записывала за доктором слово в слово – золотым карандашиком в хозяйственный блокнот, который неизменно носила на поясе. Николенька возмущенно морщился, но до поры до времени в споры с маменькой не вступал.

Тактичный доктор ходил к больному не в военном мундире, а в синем суконном сюртуке, и вид имел сугубо светский, что шло весьма на пользу выздоравливающему. Однако ж стоило последнему оправиться, как он стал дичиться французского лекаря, держа себя с ним надменно и холодно, покуда Авдотья однажды не сделала тому выговор: мол, изволь-ка держать себя любезнее – доктор тебе как-никак жизнь спас! Николенька, заалев, аки маков цвет, в ответ на замечание отвернулся к стене, процедив нечто неразличимое по-русски. А Пустилье, сделав вид, что не заметил обернувшейся к нему филейной части пациента, с веселой улыбкой похлопал княжну по руке:

¹⁸ Овсяный суп с сухофруктами.

¹⁹ Здесь: пряностей.

– Полноте, мадемуазель. Я не в обиде, был бы здоров. Нынче молодым людям всей Европы хочется в бой: бить неприятеля. А военные медики всех армий знают, что руки и ноги у любой нации отрывает одинаково, да и контузит французов и русских одним манером, вуаля.

И, насвистывая старинный мотивчик «Как я вышел в мой садок собрать розмарину», Пустилье, и, поклонившись барышне и выздоравливающему, вышел из комнаты.

– Война войной, – заявил за ужином папенька, – но промеж европейскими дворянами элементарной любезности никто не отменял.

И в благодарность послал через камердинера свежей дичи к «оккупантскому» столу. В ответ французы презентовали Липецким пару почтенных бутылок кларета, весьма подходящих для «разгона крови» после барчуковой болезни. На отличный кларет княгиня ответила несколькими банками собственноручно сваренного варенья из первой садовой земляники, а апофеозом обмена любезностями послужило приглашение французов на ужин.

– Я просто не могла повести себя иначе, – оправдывалась перед возмущенной дочерью Александра Гавриловна. – Мы, в конце концов, не дикари. – И добавила последний, неопровержимый аргумент: – А ну как наш Алеша окажется в руках француза? Разве не хотела б ты, чтобы к нему отнеслись с христианским состраданием?

Николенька вскочил со стула:

– А я не просил их меня спасти! – и выбежал из комнаты.

Маменька перевела глаза на Авдотью: та, помолчав, пожала плечами. Она хоть и не просила о помощи, приняла ее. И неужто жизнь младшего брата не стоила ужина с неприятелем?

Вместе с Настасьей выбрали платье – полупрозрачный тюль-иллюзион на атласном чехле цвета слоновой кости. И пока Настасья, высунув от усердия язык, вязала ей волосы в тугой узел, Дуня пригорюнилась. Платье было любимым, и она надеялась танцевать в нем с гвардейцами Преображенского полка – защитниками Отечества. А станет делить трапезу с вражеским артиллеристом. Но, сдержав тяжкий вздох, решила: так что ж? Разве древние греки не изобрели для подобных насмешек судьбы слово «парадокс»?

Ужин, впрочем, прошел на удивление удачно: обливная рыба с желеем так покорила гостей, что те пообещали завтра же выслать солдат – наловить свежих окуней в речке для княжеского и французского столов. Бараний бок с гречневой кашей тоже поймал свою минуту славы. И доктор, и офицер повели себя весьма деликатно, не произнеся ни единого слова о войне или Бонапарте. Офицер даже представился как штатский – де Бриак. Де Бриак оказался виконтом, младшим сыном в большой семье из Гаскони.

– Болотистая скучная земля, – пожимал он плечами в ответ на расспросы княгини. – Поверьте, ваше сиятельство, вы никогда не захотели бы жить там по собственной воле. На сих бедных равнинах соглашается расти одна просовая рожь – и то после долгих уговоров. Крестьяне, отчаявшись получить урожай, пасут на полях овец, чтобы те хоть как-то удобрили их пометом. – Авдотья поморщилась: что за беседа за обеденным столом? Но гасконца ничто, похоже, не стесняло. – Отец мой тщился вырастить там рис и тутовые деревья. Но эксперименты наши заканчивались плачевно: болота сии, как оказалось, родят одну малярию.

– Расскажите же, Бриак, – вступил в беседу Пустилье. – Расскажите, что сумели сделать!

Офицер пожал плечами:

– Я подумал, что ежели выкопаю несколько прудов, то так осушу болота. Или по меньшей мере создам пейзаж, более приятный глазу. Начал с тех, кои можно было бы видеть из окон родового замка, – увы, княжна, ничего романтического, мрачная и холодная громада, прибежище толп пауков. Я немало развлекался, чертя будущие пруды на картах: один в форме бабочки, второй – в форме львиной головы. Несколько лет, пока крестьяне копали их по моим чертежам, вокруг замка стояла непролазная грязь. – Он усмехнулся. – Впрочем, благодаря ей я избежал множества неприятных визитов. Засим пустые полости заполнились водой, а земля окрест впервые за столетия перестала хлюпать под ногами. Прилетели цапли и прочие водные

птахи. Мы запустили в пруды форель, а наши наследные поля стали давать урожай таких культур, о которых мы ранее и не помышляли.

– К примеру, табак! – с воодушевлением встрял Пустилье.

– Выгодное дело... – задумчиво покивал князь, а Авдотья отвернулась.

Боже мой, какой контраст с их бравыми гусарами, у которых в головах одни карты, да волокитство! Но пусть уж лучше бахвалятся, что попадают с тридцати шагов в туза, иль гасят свечу пулей. Лучше слушать о кутежах до рассвета, чем о посевах и выгодных вложениях... Да! Пусть это будет почти непристойно и смешно, чем по-купечески скучно!

– То, о чем я говорю, кажется вам пошлым, не правда ли? – уставился на нее острый нос француза. – Вы не знали бедности, княжна, и никогда не узнаете, Бог даст. А ведь бедность при благородной крови – вещь весьма оскорбительная и, поверьте, куда более вульгарная.

Авдотья застыла. Замерла вилка, что перекатывала последние пять минут остатки бланманже по мейсенскому фарфору. В глазах француза читалась мрачная насмешка, но за ней пульсировало, билось, будто запутавшаяся в паутине мошка что-то еще.

Княжна моргнула, пытаясь понять, в чем дело, но тут француз, на секунду прикоснувшись крахмальной салфеткой к темным губам, отложил ее в сторону. Заскрежетал резко отодвигаемый стул.

– Княгиня, князь, княжна. – Де Бриак легко поклонился, улыбнулся рассеянно чуть выше их голов. – Благодарю за приятный вечер. К несчастью, необходимость вечернего смотра не позволяет нам с Пустилье (несчастный врач, еще не успев покончить со своей щедрой порцией десерта, тоже поспешно встал, громяхая стулом) вполне насладиться вашим обществом. Доброй ночи. – И офицер с доктором вышли из столовой.

Стало слышно, как запел за окном черный дрозд.

– Эдокси, твое поведение абсолютно неподобающе, – через паузу отчеканила Александра Гавриловна.

Князь молчал и, в отсутствие чужих, поморщившись, выпрямил раненую ногу в сторону.

Дунины глаза налились слезами.

– Маменька, да ведь я рта не раскрыла!

– А в том и нужды не было. Довольно вести себя так, будто сидишь рядом со скотником, от которого дурно пахнет!

– А вы ведете себя так, будто он наш благодетель! – Дуня вскочила из-за стола. – Мы воюем с ними! Алексей, может быть, уже ранен, убит такими, как он! – выкрикнула она и сразу пожалела о сказанном, увидев материнское опрокинутое лицо.

– А он и есть наш благодетель, – произнес не громко князь. – Он спас Николая...

– Он христианин! Любой бы сделал так на его месте! – вскинулась Авдотья, как никогда похожая сейчас на своего младшего брата.

– Он еще и благородный человек, Эдокси. Солдаты его берут у наших мужиков только необходимое и честно за него расплачиваются. Они не пьют, не насильничают, дисциплина у артиллериста строгая. Говорят, у французов в армии за грабеж и рукоприкладство – расстрел. За воровство – десять лет каторги. – И князь кивнул, будто подтверждая свои слова. – Каждый раз, когда бонапартовские клячи отправляются пастись в наши поля, он просит на то моего разрешения, хотя в создавшихся обстоятельствах это я должен бы... – Липецкий замолчал и еще более потемнел лицом.

– Нам повезло, что именно он остановился у нас на постой. – Маменька положила руку на батюшкину и сжала ее утешительно. – Дай-то Бог, чтоб корсиканец не собрался скоро наступать. Неизвестно, кто следующим пройдет через Приволье...

* * *

Утром Авдотья сама вымылась с ног до головы холодной водой с одеколоном, заколола косу и села в капоте у открытого окна. Она смотрела в дышащий утренними туманами сад – по канонам той поры романтической барышне вменялось в обязанность невинное наслаждение природными красотами хотя бы пару раз за день (предпочтительно на заре и на закате). А укрощенная природа усадебного парка предлагала нашим предкам целый набор несложных аллегорий. Так, ежели ему хотелось погрузиться о судьбах родины, он устремлял свой взор на загодя высаженную с этой целью березовую рощу. Акация олицетворяла бессмертие души, дуб – величие, а скромные камыши у барского пруда – уединение. Благоухающие липовым цветом подъездные аллеи напоминали приехавшему в гости соседскому помещику о райском эфире (не то чтобы он в том нуждался – у соседа, скорее всего, имелась и своя липовая аллея). Авдотья, сама того не подозревая, существовала среди набора садово-парковых клише, коим вторила литература того времени, где героини вечно блуждали под таинственной сенью, слушая журчанье тихих струй. Один трафарет накладывался на другой, делая жизнь предсказуемой и приятной во всех отношениях.

Однако нынче вместо блаженного упоения моя княжна испытывала легкий, но весьма раздражающий зуд потревоженной совести: вчерашний вечер все не шел у ней из головы. Артиллерист, кивала себе Дуня, был верно скучен. Беда, однако, не в нем. А в ней. Она вела себя не подобающе ни своей семье, ни положению молодой хозяйки. Впрочем, вступала Дуня сама с собою в спор, француз ни разу за вечер не сделал пусть избитого, но комплимента, не попросил разрешения записать мадригал в альбом (лет через десять Вальтер Скотт назовет дамский альбом «самой назойливой формой попрошайничества») и нисколько не попытался подвести беседу к темам, ей интересным, будь то парижские новости (тут, признаемся, Авдотью интересовали более всего новости «Пале-Рояль») или роман Шатобриана (пусть даже сама Авдотья считала последнего изрядным занудой). С другой стороны, француз и сам, очевидно, чувствовал себя не в своей тарелке: трапеза их не была типичной для визита, к примеру, соседа-помещика. И каковы, позвольте спросить, правила хорошего тона в общении между оккупированными и оккупантами?

Дуня еще раз глубоко вздохнула, скорчила гримаску и, запахнув потеснее капот, перебросила ноги через низкий подоконник и прыгнула на окаймлявшую дом дорожку. Поеживаясь от утренней свежести, она огибала белоснежные шары цветущей гортензии (символа скромности и искренности), чувствуя, как промокают от росы атласные домашние туфли. Она шла к беседке, мучаясь от неясного чувства неловкости и смутной обиды: то ли на маменьку, то ли на француза, то ли на себя самою. «Воля твоя, – продолжала беседовать с собою Авдотья. – Ты блажишь и ребячишься. До модных ли шляпок из „Пале-Рояля“ сейчас? Не оказаться бы в плезерах»²⁰. Она вспомнила узкое, подобное клинку, лицо француза в те несколько мгновений, что он глядел прямо ей в глаза (что тоже было, *entre nous*²¹, не совсем прилично) – за секунду до того, как тот отодвинул стул и откланялся. Нос его, и верно, весьма устрашающ. Но... Но имелось в сем неправильном лице и быстрых темных глазах некое завораживающее движение – как в поле ржи, беспрестанно меняющем цвет под порывами ветра, и проходящими над ним облаками. Дуня пожалала плечами: сложно было отыскать во французской физиономии хоть что-то красивое (не стоит забывать, что в то время главным секс-символом страны считался молодой государь Александр Павлович – белокурый и голубоглазый, а де Бриак был его полной противоположностью), но ежели бы пришлось выбирать, то Дуня выделила бы рот южанина.

²⁰ Здесь: в трауре.

²¹ Между нами (*фр.*).

Яркие до неприличия губы были изысканного рисунка. Однако одного рта оказалось маловато, чтобы вызвать ее женский интерес. В подобных размышлениях Дуня дошла до обрыва близ беседки и привычно заглянула вниз, туда, где в глухом еще тумане катила прозрачные воды здешняя ленивая речка.

Как вдруг услышала звук срывающихся мелких камней и песка, а через минуту перед ее пораженным взором появилась фигура на карачках в темной суконной куртке и бриджах, впрочем, без шляпы. Мужчина распрямился, отряхнул руки от глинистой земли, поднял голову и замер. Спрятав улыбку, Дуня присела в книксене. Невозможно представить себе встречу более нелепую. Он сейчас и правда похож на скотника. Впрочем, и она немногим лучше пастушки – в старом капоте и мокрых туфлях, рыжая коса растрепана. Не важно (вспомним попавший в заливное бюст графини Закревской!), женщину из высшего общества отличает именно это: умение всегда держать лицо.

– Доброе утро, виконт. Свежо, не правда ли? – Он молчал, деревенщина, и потому Дуня продолжила светским тоном: – Мне хотелось бы попросить прощения за давешнюю грубость. Дело не в вас – я восхищаюсь вашими хозяйственными умениями. Дело... – она растерялась, но лишь на секунду, – дело в войне, месье. Дело в моих братьях и шаткости нашего нынешнего положения. Надеюсь...

Француз все так же хранил молчание, и Дуня решила поднять глаза от круглых медных пуговиц с лавровым листом на его сюртуке к неожиданно бледной и даже – возможно ли? – испуганной физиономии артиллериста. Будто не ее он тут увидел, а привидение из своего древнего замка.

Она сглотнула:

– Надеюсь, вы сможете меня изви...

– Девочка, – прошептал француз и дернулся лицом. – Ее нашли в речке сегодня утром.

Рыбаки.

– Она утонула? – выдохнула Авдотья.

– Боюсь, что нет, княжна. – Он медленно закрыл, а потом вновь распахнул почти черные глаза, в которых Дуня умудрилась увидеть свою нелепую фигуру в капоте – и правда чем-то похожую на привидение. – Ее убили. Точнее, задушили.

– Задушили? – повторила, глядя на него как завороченная, Дуня и сделала шаг назад, даже не заметив, что потеряла одну туфлю без задника.

А де Бриак прокашлялся и через паузу произнес:

– Война войной, мадемуазель, но дети не должны умирать. Вы согласны?

Охваченная ознобом, Дуня смогла только кивнуть.

Глава шестая

Крестьянские дети в мороз и слякоть бегают в одних рубашонках или в лохмотьях, босые, по двору и по улице, простужаются и впадают в смертельные недуги. Какой присмотр за ними во время болезни? Не только нет лекарства и свойственной больному пищи – нет даже помещения: больные ребята валяются на печи или на скамье! Одно лекарство – баня, которая иногда бывает пагубна, если употреблена не в пору и некстати. Из этого образа жизни выродился смертельный круп в окрестностях Вильны в 1810 году и созрела злокачественная скарлатина! От этих самых причин между крестьянами так часто свирепствуют тифозные горячки, изнурительные лихорадки и кровавые поносы. Расспросите крестьян и вы узнаете, что из десяти человек детей едва вырастает один, много двое или трое.

Ф. Булгарин. Воспоминания

Девочку звали Матрешкой, мать ее была прачкой, отец – кузнецом. Нашли Матрешку лежащей на самодельном плоту – неподалеку от тех мостков, где ее мать полоскала на реке белье. Не решившись пойти в избу к воющей прачке, Дуня в сопровождении де Бриака отправилась в кузницу. Кузнец, тощий, жилистый, сидел на лавке рядом со своей закопченной печью. Печь была мертва, но в кузне все равно казалось душно. Пахло холодным пеплом, мужицким потом и железом. Словно орудия средневековых пыток, ожерельем висели по дощатым стенам тиски со струбцинами. Кузнец даже не повернул головы, когда открывшаяся дверь впустила барышню, француза и солнечный свет. Глядя на подстриженную под горшок опущенную голову и густую русую бороду, не ровно выстриженную там, где на нее попали искры из очага, Дуня сглотнула. До боли переплела пальцы. Она знала, что среди крестьянских детей смерть – частая гостья. Но одно дело – смерть при родах или от болезни, и совсем другое – убийство. Что говорить, она не представляла.

– Переводите, – услышала она за своей спиной голос француза. – Вы, как семья, владеющая этими землями, и я, как представитель военной власти, обещаем этому человеку найти того, кто убил его дитя.

Дуня, не оглянувшись, стала переводить. И добавила такое неуместное в этой темной кузнице:

– Мне очень жаль.

Кузнец – Демьян, вдруг вспомнила Дуня, поднял голову, и Дуня впервые увидела его глаза – воспаленные, красные, вряд ли от слез, скорее от многолетнего труда у горящего горна.

– Удушила мою дочку-то. Как пропала – мать все по лесу бегала, аукала. Мимо избы той проходила, а ведать не ведала, где доченька. А та, может, живая еще была... – И он опять уронил голову на руки, а Дуня беспомощно оглянулась на де Бриака.

– Я ничего не понял, кроме того, что он пьян. – Француз вздохнул. – Полагаю, многого нам сейчас от него не добиться. Пойдемте, княжна.

Дуня, как слепая за поводырем, вышла следом за ним под полуденное солнце. После кузни, где несчастье, как пепел, стояло в спертом воздухе, воздух показался ей сладок и свеж. Де Бриак же задумчиво шурился, глядя на раскинувшуюся в некотором отдалении деревню. Кроме привычного для Дуни лая собак и драчливых перекличек петухов, она показалась ей тише обычного.

– Сколько здесь домов? – спросил он.

– Чуть больше двадцати, – ответила Дуня и подумала про себя: и в каждом из них может быть убийца девочек. Что-то показалось ей в словах кузнеца странным, и Авдотья нахмури-

лась, пытаясь припомнить все в точности. – Он сказал «удушила», – произнесла она вслух и тут же перевела для артиллериста: – «Удушила» – в женском роде. Будто знал, что убийца – женщина. И еще: девочка пропала уже несколько дней как – все думали, заблудилась.

– Вам надобно побеседовать с ее матерью, – вздохнул он. – Матери всегда знают больше отцов.

– Я... я не хочу! – вырвалось у Дуни.

Но, взглянув в лицо де Бриака, осеклась. Шляпы он так и не надел и потому казался каким-то очень домашним – с длинными ненапомаженными прядями иссиня-черных волос, без всякого кокетства заправленными за уши. Потемневшее, будто ставшее еще более смуглым со вчерашнего дня лицо его выражало глухую решимость.

– Поверьте, княжна, никто из нас не хочет заниматься этим делом. Но полиция вашей империи уже не функционирует на занятой нами территории. И Наполеону в его завоевательной кампании нет дела до смерти ребенка. Вы хозяйка вашим людям. Я хочу вам помочь.

– Отчего? – нахмурилась Дуня. – Вам в том какая надобность?

– Потому что это ребенок, – повернулся он в профиль, и Дуня вновь ужаснулась огромному носу. А тот повторил, с глухой убежденностью: – Дети не должны умирать.

– А ежели ее убили ваши солдаты? – закусила губу Авдотья. – В Приволье раньше никогда не убивали – разве что пьяные в драке.

Де Бриак резко развернулся к ней, и она заметила, как зарумянились смуглые скулы:

– Поверьте, княжна. Коль скоро выяснится, что виноват кто-то из моих солдат или офицеров... Ему не будет снисхождения.

– Вы его повесите? – тихо спросила Дуня.

Де Бриак пожал плечами:

– Или расстреляю. Для такого ни пули, ни веревки не жаль. – И добавил, легко поклонившись: – Мне бы не хотелось, княжна, втравлять в эту историю вашего батюшку, а тем паче ее сиятельство. Предлагаю пока обойтись собственными силами. Не откажетесь побеседовать со мной и Пустилье? Я прикажу денщику сварить кофе. Кроме того, ваша кухарка любезно поставляет мне масло и свежие... – Де Бриак чуть-чуть замялся, вспоминая заморское слово: – калатчи.

Дуня не выдержала и улыбнулась: вот же нахалка их Марфа – втихую обслуживает французов, да еще и любимыми папенькиными калачами с маком. А вслух сказала:

– Предлагаю поставить самовар в беседке. Через час.

Беседка – нейтральная территория. А часу будет довольно, чтобы сменить капот на пристойное платье и прибрать волосы.

* * *

Оказалось, что и де Бриак времени не терял: в беседке ее уже ждал нарядный офицер в синем, расшитом красными шнурами доломане. При ее появлении он вскочил, по-гусарски щелкнув начищенными до блеска сапогами «а-ля Суворов». Шляпа-двууголка лежала перед ним на столе, взятая только ради франтовства, ибо волосы француза были тщательно завиты, и было бы преступлением водрузить на столь прекрасную голову шляпу, мгновенно примявшую бы тугие локоны и тем испортив все впечатление. Впечатление, задуманное официальным, однако ж уведшее Дунины мысли в далекую от официальной сферы область: во-первых, княжна вновь отметила в уродливом французе некоторую чисто галльскую живость черт, а во-вторых, прямизну ног – редкую для Дуниных соотечественников, где сыны даже лучших родов страдали от последствий татарского нашествия.

Итак, Дуня, смущенная столь церемонной встречей двух сил, светской и военной, была рада присутствию толстяка Пустилье, так и не изменившего своему сюртуку и туфлям. Тем

временем красная от натуги Марфа внесла в беседку кипящий самовар. За ней следовали две сенные девушки с подносами, чашками и блюдами, десертными тарелками, фарфоровой масленкой со свежесбитым маслом, розетками с вареньем и, наконец, тем самым благоухающим сдобой «калатчом». Последним в беседку вошел французский денщик, неся на вытянутых руках серебряный кофейник-бульотку, на выпуклом бочке которого внимательный глаз княжны не преминул заметить инициалы «Е. В.».

Дуня села на свое любимое место, лицом к речке, и тут же пожалела о выбранной позиции: речка с недавних пор стала не элементом пасторального пейзажа, но местом смерти. Денщик разлил кофе и вышел. Сенные девушки остались сидеть на специально поставленной для этих целей скамье поблизости – а ну как барышня пошлет в дом за шалью или иной надобностью? Кроме того, их присутствие позволяло Дуне в большей степени чувствовать себя хозяйкой положения. Уверенность, впрочем, мгновенно испарилась после первой фразы Пустилье:

– Мне необходимо осмотреть девочку, мадемуазель. Где сейчас находится труп?

Труп! Дуня вздрогнула. Летом ледники были заполнены доверху требующими свежести продуктами. Помещик, еще мог себе позволить подождать своих похорон с неделю, пока съезжается родня да соседи. Но крестьян хоронили скоро – в течение суток.

– Сейчас – в своей избе, – ответила она. – К вечеру ее понесут в церковь. Там покойница проведет последнюю ночь.

Постепенно смысл сказанных слов дошел до Авдотьи:

– Но что значит «осматривать девочку»?

– Я собираюсь произвести вскрытие, мадемуазель. По методу профессора Биша. Мы, французы, отстали в этом важнейшем вопросе от англичан и итальянцев. К счастью, доктор Биша несколько сократил существующий разрыв...

– Вскрытие? – перебила его неверяще Авдотья, взявшая в беседе унижительную привычку повторять за доктором.

– О да. Необходим внешний и внутренний осмотр. Аутопсия. Видите ли, княжна, в анатомическом театре в Сорбонне медики уже не впервые оказывают помощь парижским префектам. А доктор Биша произвел в лионской городской больнице несколько опытов с использованием электричества, подтверждающих его теории о танатологии, и...

Дернув, как породистая лошадка, головой, Дуня отмахнулась от незнакомых слов ради главного:

– Вам никто не даст осматривать тело. Если вы посмеете это сделать, вся деревня поднимется против вас. («И против меня», – добавила она про себя.) – Наши крестьяне – люди глубоко верующие – не позволят копаться в творении Божиим, какие бы благородные цели вы ни преследовали. Признаюсь, – закончила она с вызовом, заметив недоуменный взгляд, которым обменялись полковой врач с де Бриаком, – даже мне эта идея кажется кощунственной.

– При всем уважении, мадемуазель. – вздохнул Пустилье, – кощунством было бы не наказывать убийцу. А мертвые... мертвые тоже умеют говорить. Уж поверьте.

Де Бриак явно чувствовал себя неудобно:

– Возможно, мы не имели права просить вас о помощи, княжна. Вы – молодая женщина, и было бы странно, если бы смерть и трупы, м-м-м... входили бы в сферу ваших интересов. Прошу извинить нас с Пустилье. Мы – бывалые вояки и уже многое повидали на своем веку. – И закончил уже твердо: – Забудьте о нашей просьбе. Мы сами попытаемся найти изверга, убившего ребенка.

Дуня с облегчением кивнула – сами так сами, это грубое мужское дело – и встала из-за стола. Вот и славно. Она вышла из тени беседки на солнце и, дойдя до самого обрыва, увидела ту же картину, что и в первый приезд свой в Приволье: речку, извивающуюся внизу, дубраву на другой ее стороне, поля, деревенскую церковь и кладбище. Скоро, подумалось ей, по дороге

через мост понесут открытый маленький гроб: девочка легкая, телегу запрягать не будут. Дуня пару раз уже видела деревенских покойников в смертной одежде из белого холста, с пятаками на глазах. «Плакальщицы», – вспомнила она протяжные птичьи крики:

Со восточной со сторонушки
Подывалися да ветры буйные,
Пала, пала с небеси звезда
Распахнитеся да белы саваны!

Как страшно! Авдотья поехала (бедное дитя!) и медленно двинулась к дому: гулять в саду неподалеку от беседки ей показалось почему-то стыдным. Хотелось укрыться в тени собственной комнаты; Авдотья вошла уж было на крыльцо, когда из-за колонны к ней бросилась женская фигура в синем сарафане и пала на колени так стремительно, что Авдотья бы оступилась, не схвати ее та крепко за руку.

– Прошу, пани, благам че, помогите... – Мешая русские слова с польскими, женщина не переставала целовать Авдотье руки, прижимаясь к ним пылающим лбом.

Прошла пара минут, пока княжна догадалась, кто перед ней: прачка Агнешка, крупная баба с льняными волосами и нежным, будто акварельным лицом, мать несчастной Матрешки. Выйдя замуж за Демьяна-кузнеца, она приняла православную веру, но даже этим не добилась расположения ревнивой барыни. К барину же, в обход хозяйки, она идти не решалась. Нахмурившись, Авдотья некоторое время слушала сбивчивую речь, понимая, что «млода господини домова» – это именно она, молодая хозяйка, и именно к ней эта женщина с тяжелыми красными руками, так не подходящими к акварельной прелести лицу, обращается за заступничеством и справедливостью.

Авдотья вздохнула.

– Хорошо, – осторожно высвободила она свою зацелованную кисть из тяжелых рук прачки.

– Добже? – так и не встав с колен, вскинула на нее полные слез глаза Агнешка.

– Добже, – повторила Авдотья и сморгнула.

Секунду она смотрела на дверь, ведущую в дом, где лежал, распластавшись на постели, недочитанный роман. А потом развернулась и пошла обратно к беседке.словно загородив ей дорогу, прачка заставила ее принять единственно верное решение.

– Vien²². Будь по-вашему, – сказала Дуня вслух.

Каковы времена, таковы, выходит, и занятия. Отец с матерью лежат при закрытых гардинах – оба страдают от мигрени. У одного головные боли вызваны многомесячными походами с ночевками, проведенными в бивуаках на холодной земле, у второй – женскими недомоганиями. Поделись она с ними новостями, что за сим последует? Отец, раздраженный на свою неспособность держаться, как встарь, молодцом, возьмется пороть деревенских и дворовых. Порка, как известно, – дело богоугодное и даже, возможно, весьма полезное в поисках душегуба, но покамест можно обойтись французской – как ее? – аутопсией, значит... Значит, раз уж Дунина мудрый ироничный старший брат на войне (как же Авдотье его не хватало!), ей и стоять за безопасность своих людей. А кроме того, отважная Олимпия на ее месте уж точно бы не смешалась, а занялась бы мужским делом. А Алеша бы ее – Дуню, а не Олимпию! – несомненно бы в сем начинании поддержал. Вуаля.

И Авдотья весьма решительно направилась к беседке, где, просочившись сквозь резное дерево, летнее солнце упруго отталкивалось от самовара, ложилось теплыми бликами на круглый, покрытый белой скатертью стол и всюду играло на золоте галунов носатого артиллериста:

²² Ладно (фр.).

будто утверждая победу света над тьмой. Дуня переступила порог, сама еще не веря в то, что сейчас скажет.

– В Приволье хранится ключ от сельской церкви. А под церковью имеется склеп. – Она встретила взглядом с де Бриак: – Нам понадобятся свечи, господа. Мне не хотелось бы жечь церковные.

* * *

Николенька лег в постель рано, Дуня сама перекрестила мальчику лоб и задула свечу. На обратном пути осторожно приоткрыла дверь в полутемную родительскую спальню: окна были открыты, но завешаны длинными маркизами, которые только сейчас, к вечеру, перестали поливать студеной колодезной водой – для охлаждения летнего зноя. На полу по четырем углам с той же целью стояли кадки со льдом. Воздух был душист от расставленных в изобилии по комнате резеды и тубероз, любимых цветов маменьки.

Авдотья с минуту постояла, борясь с желанием растолкать отца и поведать о своей авантюре. Но, отказавшись от сих мыслей, легким шагом прошла в отцовский кабинет, выдвинула ящичек (второй слева) отцовского орехового бюро в золоченой бронзе, вынула ключ – длинный, вершка четыре, тяжелый, и сама эта тяжесть была как Авдотья вина. Согреть железо в кулаке, она вышла в сад. Скрипя гравием, дошла до конюшен, где ее ждала загодя оседланная Ласточка.

Луна освещала громаду притихшего имения, замершие, точно солдаты на параде, старые липы подъездной аллеи. Дабы не спугнуть спящую дворню, Авдотья полпути к подъездным воротам провела кобылу под уздцы, и вскоре за замшелыми каменными львами послышалось приветственное ржание французских коней. Пустилье, и де Бриак, оба весьма схожие покровом сюртуков с местными помещиками, тихонько переговариваясь, курили трубки. «Если не откроют рта, – подумалось Дуне, – то могут и сойти за таковых». Впрочем, Авдотья репутация, будь она узнана, в любом случае была бы испорчена навсегда.

К счастью, путь им предстоял недолгий: минут через десять все трое спешили и, оставив лошадей в березовой роще неподалеку, медленно пошли к темному храму. Скромная одноглавая церковь была сработана лет десять назад на барские деньги – православная, она предназначалась для перевезенных с калужских земель крестьян Липецких.

С большим, чем надобно, скрипом растворились тяжелые двери. На Авдотью пахло ладаном, медовым воском и, слегка, розами от елея. Детский гроб стоял посреди храма; подойдя прямо к нему, Авдотья почувствовала еще один приторный душок, схожий с тем, что издают надолго забытые в вазе гниющие цветы. Плотное обвязанное серым платком остроносое личико казалось совсем крошечным.

Де Бриак притворил дверь. Доктор зажег свечу, поднеся ее ко гробу, и, отвернувшись, трубно высморкался, спрятав белый платок в карман жилета.

– Кажется, она сейчас заплачет, – прошептал де Бриак. – Невыносимое зрелище.

Дуня кивнула – скорбно сомкнутые синеватые губы обвиняли лично ее, хозяйку, помещицу, – это она не сберегла. На сизоватых веках лежали тяжелые медные пятаки.

– Вы не покажете, княжна, где спуск в склеп?

Только сейчас Авдотья заметила в руках у де Бриака свернутую попону, а у Пустилье – объемный кожаный саквояж. И поежилась.

– Вам... вам нужна будет моя помощь?

– Только посветить, – поторопился успокоить ее де Бриак. – А после вы понадобится нам тут, наверху, чтобы предупредить, если кто-то решится нагрянуть сюда ночью.

Тело пришлось вынуть из гроба – пусть и маленький, тот не проходил вниз по лестнице. Де Бриак нес мертвую девочку на руках, Дуня отводила глаза от узких голубоватых ступней,

то и дело задевавших каменную кладку. Церковный склеп служил складом – лестницы для побелки, мешки с мелом, большой стол по центру. Пахло тут пылью и холодным камнем. Француз опустил девочку на стол и, расстелив рядом попону, аккуратно переложил тело поверх темного сукна. Доктор открыл саквояж, холодно зазвенели выкладываемые на стол железные инструменты...

Дуня развернулась и побежала наверх, в тепло деревянного храма. Липецкие никогда здесь не молились – на то у семьи была домашняя церковь, но сейчас она бросилась на колени перед поблескивающими в полутьме образами.

– Помяни, Господи Боже наш, – запричитала княжна шепотом. – В вере и надежде живота вечного новопреставленную рабу Твою...

Простит ли ее саму Господь за то, что с ее попустительства делают сейчас в церковном подвале два француза? Права ли она и нужна ли мертвой девочке справедливость? «Ведьма! – услышала она. – Чертова ведьма! Гореть ей в аду!»

«Это мне. Мне гореть в аду...», – подумала Авдотья, спрятала горящее лицо в ледяных ладонях. Но через секунду, подобрав подол, вскочила с колен, готовая броситься в подвал и немедленно остановить ту самую аутопсию... И вдруг поняла, что голоса раздаются вовсе не у нее в голове, а за стенами церкви. Дуня застыла, глядя на пустой детский гроб: сейчас их застанут – и немудрено, как же иначе, ведь Матрющкины мать с отцом должны читать заупокойную всю ночь – до утренней литургии! Вся дрожа, она вновь опустилась на колени – но теперь чтобы прикинуть глазом к замочной скважине.

Мимо церкви шла толпа – темная, угрожающая, ощерившаяся горящими головнями.

– Нежить! – пьяно кричали мужики. – Детогубица!

Дуне показалось, что она узнала в толпе высокую жилистую фигуру. Кузнец. Авдотья бросилась к лестнице, ведущей в склеп.

– Виконт! Доктор! – крикнула она вниз, где в свете свечей плескались на стенах две тени. – Пора уходить!

Но мужчинам в подвале понадобилось еще четверть часа, чтобы привести девочку в порядок, аккуратно одеть, завязав тесемки погребальной рубахи, натянуть покров и вернуть тело в гроб. И все это время княжна дрожала аки осиновый лист, каждую секунду ожидая тяжелого стука в дверь храма, пока наконец крики не растаяли в душной темноте, а к Дуне не вернулась способность соображать: она поняла, *к кому* на самом деле спешила воинственная толпа.

«Удушила мою дочку-то...» – вспомнились ей слова кузнеца.

Выскользнув из зябкой церкви в молочное тепло летней ночи, они дошли до березовой рощи. Кони приветствовали хозяев тихим ржанием.

– И куда они направились, мадемуазель? – Де Бриак был бледен, на лбу под лунным светом блеснула испарина – в чем бы ни заключалась та самая «аутопсия», помощь доктору далась ему нелегко.

– Думаю, нам надобно за кладбище. Она живет на краю леса. – И пояснила двум растерянным мужчинам: – Знахарка, травница. Все деревенские – и наши, и соседние, даже поляки – ходили к ней заговаривать зубную боль, грыжу, чирья или золотуху.

– Однако. Женщина широких познаний, – усмехнулся Пустилье. – Полагаете, ей угрожает опасность?

– Мне кажется, они решили, что убийца – именно она.

– Глупости и суеверия! – Де Бриак тронул своего жеребца, и все трое пустились бодрой рысцой вдоль реки.

* * *

Стоило им обогнуть сельское кладбище, как они увидели хижину знахарки. Добрый бревенчатый сруб за высокими зубьями частокола, что каждую весну поправляли благодарные деревенские мужики. Ныне те же мужики, обложив дом по периметру сухоломом, молча смотрели на стену из пламени. Подъехав, сквозь треск и вой огня Авдотья услышала еще один звук и переглянулась с де Бриаком – монотонный вопль внутри огненного кольца казался нечеловеческим. И все же это кричал человек. Женщина. Боже, она же горит там заживо! Не дожидаясь помощи своих провожатых, Авдотья спрыгнула с лошади, шагнула вперед.

– Сейчас же тушите огонь! Слышите?!

Никто к ней даже не повернулся. Дуня гневно сдвинула брови: да как они смеют! Людской круг словно защищал внутреннее кольцо пламени. Стоявшие мужики почудились ей каменными застывшими истуканами, а огонь, напротив, полным ликующей жизни. Довольным. Сытым. Авдотья сделала еще шаг, и ее толкнуло обжигающим воздухом. На секунду Дуня задохнулась, а потом в ней взметнулась ярость на всегда таких кротких деревенских, будто враз сменивших молодую хозяйку на нового, властного барина. «У-у-у!» – гудел огонь, оглушительно трещало сухое дерево, пригоршни искр взлетали в ночное небо, и вой травницы за пылающими стенами казался созвучной тому гулу и треску нотой.

– Пропустите! – Дрожащими от злости и испуга пальцами Дуня развязала свой плащ английской шерсти, только на Пасху купленный в лавке на Кузнецком мосту, и набросила его на горящий плетень, словно на бешеного зверя.

Мужики будто впервые ее увидели – с растрепанной косой и с пунцовыми от жара щеками, – но тут в доме что-то хрустнуло, и те вновь как по команде отвели глаза, в которых плясало пламя, к избе.

– Посторонитесь, княжна! – вдруг услышала она за собой французскую речь и чуть не попала под ноги дебриаковскому жеребцу.

Тяжелые копыта ударили в ослабленный огнем плетень, как раз поверх Авдотьиной накидки. Тот повалился, освободив лаз в раскаленной стене. Жеребец с испуганным ржанием встал на дыбы – мужики от неожиданности сделали шаг назад. А француз, осадив коня, спрыгнул сам и, закрыв лицо плащом, толкнул дверь избы, выпустив наружу облако сизого чада. Авдотья замерла, глядя в раскрывшийся зев, из которого продолжал медленно, будто нехотя, выходить дым. И тут только княжна поняла, что во всей этой inferнальной картине чего-то не хватает. Оглушенная происходящим, она растерянно оглянулась: что же изменилось? Вот толпа застывших мужиков, вот чад из дверей, вот гул и скрежет огня. И лишь всмотревшись в ставший пеплом, а недавно столь модный свой плащ среди мерцающих углей, она услышала ее – тишину за говором пламени. Знахарка больше не выла.

И это отсутствие крика оказалось страшнее, чем сам крик.

Глава седьмая

*Подруги милые! в беспечности игривой
Под плясовой напев вы резвитесь в лугах.
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой,
И я, на утре дней, в сих рощах и лугах
Минутны радости вкусила;
Любовь в мечтах златых мне счастье сулила;
Но что ж досталось мне в сих радостных
местах? —
Могила!*

Константин Батюшков

Авдотья считала себя весьма современной барышней – в конце концов, она была ровесницей революции, а последние дают изрядного пинка многим областям знания – от законодательства до искусства и мод. Сама же французская революция являлась порождением философской мысли (революции поначалу всегда происходят в мозгах и лишь потом – на баррикадах), а философы Просвещения пребывали в уверенности, что в несчастьях человека виноваты лишь внешние «обстоятельства» – а значит, их можно переломить. Отсюда и революция. Мысль эта эволюционировала со временем, но следует помнить, откуда вился тот ручеек, окрасивший Россию 17-го года жестокостью и кровью: идя сквозь XIX столетие к его чистому прозрачному верховью, мы встретим французских энциклопедистов в напудренных париках.

Авдотья не могла догадаться, к чему приведет ее страну французская философия, зато теперь она знала, что человек и верно жестокое животное. За сутки она потеряла невинность сердца, увидев и смерть, и смертельное же равнодушие. Получалось, что человек вовсе не так разумен и благ от природы, как казалось месье Руссо, и значит, следует возвращаться к отвратительной средневековой доктрине о его греховности как части божественного плана... Это было потрясением.

Замерев, она смотрела, как прискакал в сопровождении отряда солдат Пустилье. Пожар потушили, мужики разошлись по домам: так же молча, даже не оглядываясь на обугленную избу. Словно и не они поджигали, не они стояли и наблюдали за гибелью знахарки в огне. Ибо когда, кашляя и задыхаясь, де Бриак вынес тело старухи во двор, она уже была мертва, и даже кудесник Пустилье, приложив зеркальце к темному провалу рта, лишь покачал головой. Он же, Пустилье, предложил Авдотье воспользоваться свободной комнатой в их крыле дома. О приличиях думать уже не приходилось, и Дуня со вздохом согласилась. Денщика послали за водой, и он вернулся с полным кувшином и скандализированной Настасьей. Та, в свою очередь, засновала между барской и гостевой половиной, и в результате Дуня сменила пропахшее гарью и безнадежно испорченное платье на домашний капот, а растрепанную косу – на простой узел на затылке. Критически оглядев себя в зеркале, Дуня согласилась с собой же, что могла бы выглядеть и лучше, но, учитывая опыт нынешней ночи, все вполне пристойно.

– Платье, коли хочешь, оставь себе, – кинула она Настасье, выходя из комнаты.

И краем глаза отметила, как та вспыхнула от удовольствия: Настасья была кокетлива и перешивала себе из вышедших из моды или, как вот нынче, испорченных туалетов барышни себе то кофты, то юбки.

Небо над парком уж совсем посветлело, еще час – и пробудится маменька, станет торопить девушек с самоваром. Но пока она еще может пробраться через центральную ротонду незамеченной. Следовало, однако, поблагодарить обоих французов. Держа спину чрезвычайно

прямо, Авдотья толкнула дверь, чтобы попасть в гостевой салон, откуда уже доносился запах кофе.

– Господа... – начала она.

И осеклась: оба мужчины, присевшие за маленький круглый столик у высокого окна, мгновенно вскочили, склонив головы в поклоне. Майор и доктор тоже успели умыться и переодеться, но на Дуню вдруг пахнуло гарью. Гарью и смертью. И она со стыдом почувствовала, как задрожали ноги, а воспаленные от дыма и огня веки защипало от внезапных слез.

– Княжна, – вскинул на нее блестящие глаза де Бриак, – несмотря на столь бурную ночь, позвольте пожелать вам доброго утра и выразить восхищение вашей храбростью. Редкая девица, столкнувшись с подобными обстоятельствами, проявила бы вашу стойкость духа...

Он вдруг замолчал, заметив ее слезы, и, сделав два шага вперед, взял Дунину руку и поднес к губам. И Авдотья с ужасом поняла, что еще чуть-чуть – и ее столь тщательно умытая физиономия расплывется в некрасивой гримасе. И дабы спрятать лицо, по русской привычке поцеловала француза в голову. От затылка виконта пахло пудрой и кельнской водой, призванной всуе заглушить запах гари, но сквозь эти запахи пробивался еще один. Дуня на секунду замерла, пытаясь определить, какой же? Пока, порозовев, не поняла, что так пах сам де Бриак, и от интимности этого запаха быстро выдернула руку.

– Вы устали, – вздрогнув от ее внезапного жеста, не громко сказал он. – Вам необходимо выспаться. Но сначала – подкрепиться.

Француз широким жестом указал на столик с уже знакомым Дуне кофейником, оставшейся со вчерашнего ужина тонко порезанной холодной телятиной, хлебом и свежими яйцами.

И Дуня хотела было сказать, что есть не желает, а разве что выпьет французского кофею, но через пять минут, стараясь более глядеть на розовощекого Пустилье, чем на сумрачного де Бриака, почувствовала зверский аппетит. И, пользуясь пришедшей из Франции же модой на природную естественность, порешила – раз уж провизия за оккупантским столом все равно происходит из батюшкиного имения – подкрепиться двумя яйцами и толстым куском хлеба.

Пустилье, подливая ей в кофе густых сливок, по-отечески кивал головой, рассказывая, как обработал укусом ожоги на ногах виконта и сделал повязки с лавандовым маслом.

– Чудесное средство, мадемуазель, правда, майору придется носить сапоги на два размера больше, но до кокетства ли нынче...

Тут уже де Бриак прервал своего полкового врача:

– Сии детали, – сказал он, – порозовев, вряд ли заинтересуют княжну.

А Дуня, забыв о собственном смущении и великодушно желая выручить майора, перевела беседу на недавнее происшествие.

– Все это ужасно, – сказала она. – Но, возможно, мужики знают больше, чем мы? А ежели дело тут не просто в суеверии и травница и впрямь виновата? – Мужчины молчали, и Дуня продолжила задавать сама себе вопросы: – А удушение в воде было частью какого-то ритуала? Я слыхала, знахарки лечат «трясцу» – лихорадку – около осины, ибо та «вечно трясется». А от струпьев на лице – деревенские зовут их «летучий огонь» – выводят на улицу и дожидаются первого зажженного в селении огня. Что, ежели девочка чем-то болела, а знахарка пыталась ее вылечить... от водянки, к примеру?

Она переводила взгляд с Пустилье на де Бриака. Оба сидели, опустив глаза. А де Бриак, похоже, еще и покраснел узкими щеками.

– Господа, – нахмурилась Дуня, отложив второй ломоть хлеба. – Вам стало известно нечто, о чем я не знаю?

– Во время аутопсии... – начал Пустилье и запнулся.

Княжна почувствовала, как счастливое чувство сытости сменяется липкой тошнотой. «Мертвые умеют говорить». Мертвая Матрешка что-то поведала им в церковном подполе. Но Дуня была вовсе не уверена, что желает слушать. И похоже, что эти двое не слишком стре-

мятся ей рассказывать. Бросив тоскливый взгляд на рассветный парк, Дуня выдохнула и снова повернулась к собеседникам.

– Продолжайте, доктор, – сказала она.

– Голова девочки была обрита, – начал Пустилье. – И если в ваших местах нет такой традиции, значит, это сделал убийца, и сделал длинным лезвием наподобие складной бритвы. – Дуня задумчиво кивнула: она видала такую у отца и брата. – Кроме того, на коже девочки имелись порезы, произведенные, возможно, тем же лезвием. – Пустилье полез во внутренний карман своего сюртука и вынул записную книжку в кожаном переплете. – Вот, мадемуазель, – открыл он ее на середине.

Дуня взглянула на страничку, изрисованную доктором этой ночью в церковном склепе. Порезы схожи были с узором – завиток, напоминающий и изгиб волны, и меандр с греческой вазы. Она подняла на де Бриака ошарашенный взгляд:

– Кто станет так резать кожу ребенка?!

И впрямь – злое колдовство.

– Еще вот это.

Пустилье встал и выдвинул верхний ящик орехового секретера. В руках у него оказался холщовый мешочек. Предмет, который вынул, развязав тесемки, доктор был совсем мал, но, увидев его, Дуня против воли расплылась в улыбке. Гаврилова лошадка! Маленькая, грубо струганная, выкрашенная в две краски: красную и черную. Радость помещичьих и деревенских детей, награда за терпение на уездной ярмарке.

– Откуда она у вас? – потянулась Дуня к игрушке.

– Вам она знакома? – поднял седеющую бровь Пустилье.

– Конечно. Их вырезает деревенский калека, Гаврила. – Дуня взяла лошадку и сжала ее в ладони. – Папá покупал их у него из жалости: сначала нам с Алешей, потом Николеньке. – Она замолчала, увидев, как переглянулись Пустилье с де Бриаком. И вдруг поняла.

– Где вы... где вы нашли ее, доктор?

– Кто-то, – прокашлялся Пустилье, – кто-то засунул игрушку девочке глубоко в горло. Я сам нащупал ее по чистой случайности: думал, это ветка или листья.

Дуня, нахмурившись, положила лошадку на стол.

– Что-то еще? – еле слышно спросила она и добавила уже громче: – Вы узнали что-то еще?

Де Бриак весьма пристально глядел в уже пустую чашку – будто высматривал в кофейной гуще свою будущность.

– Не думаю, что вам, княжна, стоит вдаваться в такие... подробности. – Он прокашлялся, но так и не поднял на нее глаз. – Довольно того, что сей факт полностью снимает подозрения со знахарки.

– Что?.. – начала Дуня и замолчала, чувствуя, как лицо заливают краска.

Над девочкой надругались, поняла она. Так, как делают испокон веков солдаты наступающих армий с женщинами покоренных земель. Но тут была не баба из деревенских. Ребенок. Видно, насильничавшему самому стало стыдно перед Богом за сотворенное зло. Так стыдно, что тот удушил ее, убив с ней и свой грех.

Так вот почему они были так смущены. Дуня поднялась из-за стола.

– Значит, это один из ваших солдат. – Губы ее дрожали, но голос был ледяным. – Один из вас.

Офицеры вскочили вслед за ней, Пустилье открыл было рот, чтобы что-то сказать, оправдаться... Но красный как рак де Бриак, сомкнув челюсти, молча смотрел в пол. И это постыдное молчание было откровеннее любого признания.

Изо всех сил стараясь сдержать подступающие рыдания, Авдотья ровным шагом вышла из комнаты. И лишь оказавшись в центральной ротонде, где на нее с укором смотрели со стен

лица предков, бросилась на двустворчатую дверь в свою половину дома, распахнула ее и побежала, уже не сдерживая слез, вперед.

* * *

За завтраком Авдотья сидела в горькой растерянности: о ночном происшествии следовало рассказать отцу с матерью, но решиться на это было нелегко. И как же ей не хватало Алеши! Брат нашел бы способ, отыскал нужные слова. Дуню же охватывал ужас при одной только мысли о выражении матушкиного лица: ночь, деревенская церковь, двое малознакомых мужчин... И ее дочь, княжна Липецкая, помогающая им вскрыть труп. Кроме того, Авдотья понимала, что несомненная вина в детоубийстве французских солдат ставит его сиятельство перед непростым выбором. Помещик – отец крестьянам и их заступник. Но как князь сможет защитить своих людей супротив целого вражеского дивизиона? Был, конечно, и еще один выход для дворянина: разрешить дело поединком. Но, расставшись со старшим братом и едва не потеряв младшего, Дуня не могла и помыслить о возможном дурном исходе дуэли для батюшки. А в том, что де Бриак – отличный стрелок, она отчего-то не сомневалась.

– Что, душа моя, сидишь пригорюнившись? – прервал ход ее рассуждений Сергей Алексеевич. – По балам скучаешь да по подружкам?

Дуня подняла на него глаза и уж набрала было воздуха, дабы признаться в содеянном, как в дверь столовой тихо постучали. И на трубное князево «Entrez!»²³ на пороге появился Андрей-управляющий с просьбой переговорить с барином по очень важному вопросу наедине, засим следовал поклон в сторону расслабленной с утра княгини и Авдотьи, у которой сразу тревожно засосало под ложечкой: не о вчерашней ли ночи собирается доложить его сиятельству управляющий?

– Ступай за дверь, обожди меня, – кивнул Липецкий, наливая себе последнюю за утро чашку кофию, а Дуня, порозовев от того, что собирается сделать, отодвинула стул.

– Что ж ты и не поела ничего, голубушка? – ласково взглянула на дочь Александра Гавриловна.

– Не выпалась, – ответила Дуня. И не соврала.

Княгиня, щедро намазывая маслом сдобный срез калача, кивнула:

– Все полная луна. И у меня в полнолуние не мигрень, так бессонница. Иди-ка, приляг хоть на час, ма шер.

Освободившись от родительских внимательных глаз и совсем ненужного ей второго завтрака, Дуня легким скорым шагом направилась в соседнюю с отцовским кабинетом библиотеку. Она знала: дверь между двумя помещениями никогда не закрывалась наглухо. Так, княжна проводила немало дождливых августовских дней, читая под бубнящий голос Андрея: сколько рабочих стадов да на сколько посевных выпасено. Сколько собрано с десятины пудов овса, сколько пшеницы. Сколько пришло за мельницу, сколько за сено. И ни разу не выказала ни малейшего интереса к помещичьим делам. Но сегодня – сегодня другое дело. Взяв для прикрытия солидный том «Dictionnaire universel de la noblesse de France»²⁴, Дуня со скучающим видом села на подоконник, плотно задернула тяжелую гардину. И вовремя. Через библиотеку, прихрамывая, прошел батюшка с почтительно следовавшим за ним Андреем.

– ...А французы, выходит, пытались помешать бесчинству?

– Истинно так. Майор ихний прямо в избу к ней прорвался, чуть сам себя не спалил, ан поздно: старуха уж Богу душу отдала. – Последовала пауза, Андрей, очевидно, перекрестился. – Или дьяволу.

²³ Войдите! (*фр.*)

²⁴ Универсальный словарь французских дворянских родов (*фр.*)

– Ты, Андрей, вокруг да около не ходи, – Дуня услышала, как князь прочистил и зажег себе трубку. – С чего вдруг кроткие мужики мои войной на знахарку пошли? Она ведь, поди, лет сто им все хвори заговаривала?

– Так-то оно так, барин. Вот только слух пошел, будто старуха девочек крадет. Волоса им бреет и по воде на плотках пускает. А после их волосами оборачивается, молодильное зелье пьет и...

– Постой. Что значит – по воде пускает?

– Вроде душит их кто, девок-то. Бабы говорят, водяной подарок принимает.

Авдотья услышала, как князь презрительно хмыкнул.

– Бредни бабские да суеверия. Война идет, аракеевские пушки палят, девятнадцатый век на дворе, а все туда же, водяной им мерещится. – Отец помолчал. Побарабанил пальцами по столешнице. – А за то, что не пришел ко мне сразу, как первая девочка пропала, всыпать бы тебе с двадцать пять горячих!

– На то ваша барская воля, Сергей Алексеич, – обиженно громко втянул носом воздух Андрей. – Только вот извольте видеть: Фроська-то, Федора-кучера дочка, что о позапрошлом августе утопла, вроде как случайно с мостков в реку упала. Когда нашли ее, сильно уж была порченная, не понять ничего, одно слово – утопленница. А со второй уж разговор иной: на плоту плыла, не червивая, волоса-то обриты. И самая шеечка вся в синяках...

– Так что, тоже думаешь, это дело рук ведьмы?

– Да какой же нелюдь на ребенка руку-то поднимет? Басурмане разве? Так их о позапрошлом годе еще здесь и не было.

– А о сем годе и урядника не найти, – вздохнул князь.

Растерянность его сиятельства была вполне понятна. В мирные времена осмотр мертвцов в подвластных их сиятельству селениях возлагался на сотских старост: будь то покойники удушенные, замерзшие или утопшие. Иногда при осмотре бывал местный священник и обязательно – врач из губернской управы. От врача в губернскую же канцелярию шел по покойнику непременно рапорт. По закону старосте следовало отослать мертвца с письменным уведомлением в госпиталь или в полицейскую управу, где штатт-физик уже приступал к анатомированию в секционных покоях. Да, но помещик к подобным делам имел мало отношения, процедура шла своим чередом...

Сергей Алексеевич вздохнул: так происходило в мирное время. Сейчас же врача было не отыскать и для осмотра живых, не то что для трупов. «Да и что там уж можно увидеть, что сделать? – размышлял, пожевывая муштрук и хмурясь, князь. – Огонь уничтожил следы, а на подозрении все не забритое в рекруты мужское население деревни...»

Будто подслушав мысли барина, Андрей мелко закивал:

– Так оно и к лучшему, барин, случилось. Аксинья-то травница уже, значит, на том свете. А на этом детишкам покойно будет.

– Что ж, – согласно заскрипел стул под князем. – Actum atque tractatum²⁵, друг мой.

Андрей почтительно промолчал: фразой этой барин заканчивал почти каждое обсуждение хозяйственных дел, и латынь для управляющего была вроде знахаркиного заклинания, обозначающая точку в беседе. Но Авдотья, замершая за гардиной, поняла: отец в глубине души рад, что его вмешательство не потребовалось. Пусть и мужицким самосудом, но убийца найден и наказан.

Позабыв об увесистом томе, Дуня тихо соскользнула с подоконника. Ей необходимо было увидеть де Бриака. Даже если для этого придется стучаться в его окно, тем самым нарушив последние приличия. Что ж, как сказал бы папá: sic fiat²⁶. Или, более подходящее случаю: À

²⁵ Сделано и обсуждено (лат.).

²⁶ Пусть так (лат.).

la guerre comme à la guerre²⁷. И отчего ей вечно приходится оправдываться перед некрасивым майором?

* * *

Но окно де Бриака оказалось широко открыто – по новой, пришедшей с туманного Альбиона методе, согласно которой помещение надобно было наполнять свежим ветром полей и дубрав. Прогуливаясь по близлежащим аллеям парка (и получив таким образом возможность изучить с некоторого расстояния комнату артиллериста), Дуня со вздохом разочарования обнаружила, что майор, очевидно, ушел проверять состояние своих людей да осматривать орудия. Авдотья приуныла. Душа ее, как в романах Ричардсона, разрывалась от противоположных чувств. Стыдом за свое скорое обвинение – и радостью оттого, что оно ложно. А раз так (Дуня лелеяла надежду, что француз великодушно простит ее!), значит, они смогут сделаться приятелями. Друг же, подобный де Бриаку, призналась себе Авдотья, был ей сейчас необходим: ведь старшего брата рядом не было – и дрожь пробегала по Дунинуму позвоночнику при мысли, что по Приволью уже два года как ходит убийца и насильник.

Пытаясь отвлечься, Дуня даже наведалась к маменьке. После вызванного мигренью вынужденного бездействия Александра Гавриловна преисполнена была с утра неистойвой энергии. Неизвестно, куда заведет огромную империю военная кампания с вероломным Буонапарте, но что бы ни случилось, ее сиятельство не свернет с проторенного пути и, как каждый год, заведет свое производство варенья. Авдотья, обыкновенно с легким пренебрежением относящаяся к материнскому хобби (еще одно модное английское словцо, пришедшее из романа Лоренса Стерна), нынче с радостью последовала за ней в оранжерею: рамы в теплицах по случаю жаркого дня были сняты, и аромат созревающих плодов пьянил и довольную Александру Гавриловну в широкополой пейзажной шляпе, и садовника с двумя дворовыми мальчишками, что приставили лестницу к шпалерам и влезали наверх, где фрукты зрели не в пример быстрее.

Начался сбор. Княгиня, обмахиваясь веером, в сопровождении ключницы (крепостной синоним экономки) и Авдотьи, переходила из отделения в отделение, организованные со строгостью по сортам плодов: тут были и персики, и абрикосы, и сливы-«венгерки». Лучшие Александра Гавриловна с нежностью откладывала на варенье. Остальное, знала Дуня, пойдет на наливки с настойками. Сей же осенью сотни две бутылок, переложенные сеном, отправятся в московский особняк Липецких.

Наскучив оранжереями, Дуня вернулась под сень родного дома. И тут же пожалела: господская половина положительно превратилась в фабрику. Даже в парадных комнатах все столы были нагружены дарами сада, вокруг них сидели сенные девушки: чистили, отбирали ягоду по сортам... И едва успевали справиться с одной грудой, как на смену ей появлялась другая. Чувствуя неловкость от собственной праздности посреди сего трудового исступления, Дуня стянула пару земляничин с одного из столов и так дошла до библиотеки, по счастью, не затронутой садовым безумием, где забрала с подоконника случайно схваченную утром с полки книгу.

В саду, в тени громадной липы были уж сложены из кирпичей четырехугольники горелок. На них, в пылающих на солнце медных тазах, неистово бурлила, вспучиваясь розовой пеной, летняя амброзия. Настасье и Ваське – горничной Александры Гавриловны – было приказано находиться у тазов неотлучно. Задачей их было попеременно снимать пенку на поставленную рядом тарелку белого фарфора.

Отгнав пчел, Дуня взялась за ложку, зачерпнула кончиком липкую ароматную сладость и едва только сунула ее по-ребячески в рот, как услышала позади себя:

²⁷ На войне как на войне (*фр.*).

– Простите, что докучаю, княжна. Но мне необходимо поговорить с вами.

Дуня выдохнула, быстро облизнула губы и развернулась к французу.

– Вы вовсе мне не докучаете. Напротив, – она легко пожала плечами, прикрытыми от коварного июньского солнца кружевной косынкой-фишю, – я и сама весь день хотела с вами побеседовать... – и запнулась, не уверенная, что майор ее правильно истолкует.

Но тот, похоже, княжну даже не слышал. Нахмурив густые темные брови, он смотрел мимо нее – на бьющее родником содержимое медного таза.

– Я не сумел сказать вам это нынешним утром – мы все были измучены и подавлены ночными событиями, – но верьте: я проведу расследование среди моих солдат и младших офицеров. И если вина кого-нибудь из них будет доказана... Его тотчас повесят – по законам военного времени.

Дуня всмотрелась в выразительную физиономию француза. То ли солнце, то ли смущение окрасило смуглые щеки. Но странно, чем пуще майор заливался краской, тем более лицо его выражало решимость. Словно он сердился на самого себя за слабость. Пчела, согнанная Авдотьей с пенки, вилась живым нимбом вокруг головы в темных кудрях.

Де Бриак поднял глаза и, столкнувшись с Дуней взглядом, выдержал его; темные губы его дрогнули – то ли желая добавить что-то, то ли улыбнуться. Но он промолчал и оставался серьезен.

– Не повесят, – прошептала Авдотья и сама с внезапным вниманием уставилась на бурлящее в тазу варенье, – потому что это сделали не ваши люди.

– Как вы можете быть уверены? – Он покачал головой: если это подачка, то он ее не желал. – Война, княжна, меняет самых лучших из нас...

– Могу. Я могу быть уверена, – перебила его Авдотья. – Потому что это не первый случай. Два года назад в Приволье уже пропала девочка. Ее нашли в реке близ мостков.

В наступившей тишине стало слышно жужжание слетевшихся на варенье пчел.

– Наш управляющий не счел нужным уведомить нас два года назад, полагая сие несчастным случаем. Но...

– Но когда нашли другую девочку, сомнений уже не оставалось, – кивнул де Бриак.

– Прошу простить меня, виконт, за мою пристрастную поспешность сегодня утром.

– Я не могу на вас обижаться, – улыбнулся вдруг он; всплеснулся блеск в темных глазах. – Самые простые решения часто оказываются самыми правильными. Кроме того, хочется, чтобы плохой был чужаком. Тогда наш собственный мир остается в относительном покое, не так ли?

Дуня неуверенно кивнула.

– Теперь, – начала она дрогнувшим голосом, – вы, напротив, можете быть покойны.

– Отнюдь. Теперь, княжна, мы возвращаемся к отправной точке. Согласны ли вы помочь мне найти убийцу?

Авдотья могла только вновь кивнуть – на этот раз с искренней благодарностью. Он не бросит ее один на один с неизвестным убийцей – пусть нынче точно известно, что душегуб родом из ее деревень, а не кто-то из его солдат. От облегчения выскользнула из влажных пальцев и упала в траву обтянутая кожей книга. Француз легко наклонился, чтобы подать ей увесистый том, взглянул на название – и замер.

Дуня почувствовала, как, в свою очередь, краснеет, и было от чего (читатель уже понял, что барышни XIX века краснели, розовели и румянились и без особого на то повода. Следствие ли это литературной традиции той поры или впрямь юные девушки часто смущались в обозначенную невинную эпоху, что и нашло отражение в толстых романах, – сие нам неведомо).

Де Бриак же протянул ей книгу и, не поднимая глаз, добавил:

– Мы договорились встретиться с Пустилье, чтобы обсудить все уже на свежую голову. Не откажетесь к нам присоединиться?

– Не желаете свежего варенья? – только и могла выдавить из себя все еще алеющая от смущения Авдотья.

* * *

Они сидели втроем в беседке, час дня был что ни на есть романтический: закат. Но трое в беседке не любовались на ежедневное Господне чудо, а пристально глядели на скрученную Пустилье в церковном склепе бумажную папильотку.

– Это песок, – пояснил Пустилье, высыпав несколько белых крупинок на скатерть, – я нашел его под ногтями мертвой девочки. Но дно вашей речки, как я уже удостоверился, выслано песком много более грубым и темным.

– Значит, девочку убили в другом месте? – нахмурился де Бриак.

– Весьма частый случай, – кивнул полковой лекарь. – То место, где произошло преступление, возможно, днем слишкомлюдно. Или слишком близко от дома убийцы.

Дуня, содрогнувшись, смотрела на белесые песчинки на темно-синей скатерти. В неприятной близости от хрустальной вазочки с вареньем.

– Полагаю, – и Пустилье с неожиданной для его пухлых пальцев легкостью собрал гранулы в кулечек, крепко закрутив его с другого конца, – первым делом стоит выяснить, где в здешних местах водится подобный песок. Вы сами видите: песчинки белые, блестящие и довольно мелкие. – Он улыбнулся и спрятал папильотку во внутренний карман, отчего Дуне сразу стало проще дышать. – Что, впрочем, нередкий случай для песчинок.

– Наша речка впадает в большое озеро. Там должно быть песчаное дно.

– В таком случае предлагаю вам, мадемуазель, предпринять туда прогулку. Как и к любому другому водоему, находящемуся поблизости.

– Кроме того, нам следует поговорить с Гаврилой, – кивнула Дуня. – Что, если он запомнил человека, купившего у него лошадок?

Жестом попросив разрешения курить, Пустилье выбил остатки старого табака из черешневой трубки.

– Не думаю, мадемуазель, чтобы от таких вопросов был толк. Ваш Гаврила нынче любого незнакомца станет держать за злодея. Кроме того, среди злодеев попадаются люди, весьма приятные на вид. Внешность, княжна, обманчива.

– И все же стоит попытаться, – вдруг поддержал ее де Бриак. – Где живет ваш игрушечных дел мастер, княжна?

* * *

Через полчаса, когда солнце совсем скрылось за еловыми верхушками, де Бриак и Дуня уже ехали назад. Экспедиция в ближайшую к имению деревеньку если и дала результаты, то весьма плачевные.

Изба калеки оказалась самой последней на улице и самой же неухоженной. По пыльному двору ходил один облезлый петух. Спешившись и предложив де Бриаку обождать на улице, Дуня, наклонившись, вошла в пустые сени с устланным грязной соломой земляным полом. Сама изба была темна – окна, затянутые бычьими пузырями, пропускали столь тусклый свет, что здесь, казалось, стояли вечные сумерки. Княжне приходилось двигаться чуть ли не на ощупь, с трудом преодолевая желание тотчас же выбежать обратно к петуху во двор – лишь бы прочь от насыщенного давней мужицкой вонью спертого воздуха.

Дуня вынула из-за манжеты платок и, стараясь дышать сквозь надушенную розовой водой кружевную ткань, огляделась по сторонам. Лампада тускло светила пред засиженной мухами иконой. Протянув ладонь, Дуня наткнулась на угол липкого стола, за которым вдоль стены

стояла длинная лавка. По полу прошмыгнул резвый таракан, явно живший здесь в совершенном согласии с владельцем. Сам же Гаврила – некогда большой, а ныне высохший мужик – спал бородищей кверху, извергая вместе с руладами запах «гожалки» – местного самогона. Одна рука его, та, кисть которой уже лет десять назад отрубили в пьяной драке, была откинута – грязная культия утыкалась в пол. Груда деревянных заготовок, более или менее напоминающих лошадок, была свалена на столе. Среди них имелись и большие – в четыре, пять вершков. Поежившись, Авдотья подумала, что они вряд ли уместились бы в чем бы то ни было горле.

Мог ли Гаврила – добрый, несчастный Гаврила – быть убийцей? Дуня помнила деревенские ярмарки и его карие собачьи глаза, как тот смотрел с мольбой и лаской на барских детей, выуживая здоровой рукой из холщового мешка все новых и новых лошадок. Все они были похожи друг на друга: неуклюжей грубой работой, подтеками краски на бочках. Но меж тем в этих лошадках было свое обаяние, коим не обладали ни куклы с искусно расписанными фарфоровыми лицами, ни плюшевые лошадки на колесиках – дорогие отцовские подарки из английского магазина на день ангела или на Рождество. Отчего они с Алешей так явственно чувствовали это? Почему выклянчивали каждое лето у папá с десяток копеечных коньков и, едва летнее небо затягивалось дождливыми облаками, усаживались играть с ними на полу в детской? Уже уходя, она увидела у торца стола странное приспособление – деталей в полутьме было не разглядеть, но Дуня отчего-то сразу поняла, что эти деревянные тиски служили Гавриле опорой, второй рукой, пока единственная рабочая выстругивала лошадок. Бедный, бедный Гаврила!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.